



Владимир Карпенко. 1963 г., Астрахань

Сергей КАРПЕНКО

Историк Сергей Владимирович Карпенко родился в 1955 году в Астрахани. Сын писателя Владимира Карпенко. В 1978 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. Автор научных, научно-популярных и художественных произведений о Белом движении и Гражданской войне в России.

Преподает в Историко-архивном институте РГГУ. С 2000 года – главный редактор журнала «Новый исторический вестник», с 2006 года – член Союза писателей России.

ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР КАРПЕНКО

четыре года в Ульяновске

Уже полвека минуло, как наша семья переехала в Ульяновск.

Переезжали навсегда – получилось всего на четыре года.

Последнее время наша жизнь в Ульяновске стала часто вспоминаться мне. Особенно ярко и живо – учеба в средней школе №2, одноклассники и учителя, мои приятели, любимые места прогулок, первые подружки. Удивительно, как много сцен, лиц, слов навсегда врезались в память. Будто вчера все видел и слышал...

Наша семья – это мой отец, писатель Владимир Васильевич Карпенко, моя мама и я, 12-летний школьник, перешедший в 6-й класс.

Из-за меня и пришлось нам уехать из Астрахани, моего родного города.

Тяжелый грипп в эпидемию 1959 года оставил мне «в наследство» ревмокардит и хорею. Четырежды отправляли меня врачи «полежать» в стационаре на месяц-другой, освободили от физкультуры в школе, запретили плавать, даже подходить к реке. Из-за болезни учился я неровно: прыгал с пятерки на тройку. Скоро к уже привычным диагнозам и обострениям – то весной, то осенью – прибавил-

ся ревматический энцефалит. Поставил этот новый диагноз, как приговор вынес, невропатолог, известный в Астрахани, да и в стране, – профессор Николай Федоров.

Поначалу врачи предложили родителям ограничить мои занятия в школе тремя уроками в день. Потом заявили категорически: «Увозите мальчика в среднюю полосу. И как можно скорее...». Страшный смысл был понятен: в астраханском климате – летнем пекле и зимней промозглости – долго не протянет.

Что меня ожидает – отцу и маме не нужно было представлять себе: тому был беспощадно наглядный пример.

Не знаю, когда и где познакомился отец с по-этом Борисом Шаховским. Коренной астраханец, фронтовик, он много писал и печатался, к нему уже пришла известность. Он перебрался куда-то в Подмосковье, но продолжал надолго приезжать в Астрахань, где жил в многоквартирном 5-этажном доме в самом центре, напротив Кировского сквера. Мы все втроем однажды пришли к нему в гости, где-то году в 64-м или 65-м. Разговор между взрослыми был оживленным, веселым. По всему, с отцом они успели подружиться. Шаховский расспрашивал меня об учебе, потом подписал мне книжку своих стихов для детей. Тонкая, большого формата, с ярко раскрашенной бумажной обложкой – это была первая книга, подаренная и подписанная мне «настоящим» писателем.

В этой встрече, тоже ярко раскрашенной – самыми добрыми чувствами и искренностью, – было одно большое черное пятно: Шаховский все время лежал в постели. Лишь иногда он чуть приподнимался, упирая локоть в подушку. Я уже знал, как это называется: «строгий постельный режим». Кто еще был в квартире, кто ухаживал за ним – не помню. Когда вышли на улицу, отец, как-то резко помрачнев, объяснил мне тихим голосом: «У него очень больное сердце». Бориса Шаховского не стало года через полтора-два после той нашей встречи...

Много лет спустя мама не раз говорила, вспоминая Астрахань: «Если бы не твоя болезнь – мы бы никогда не уехали из этого замечательного города». Ни для нее, ни для отца Астрахань и Астраханский край не были родиной. Но там они встретили друг друга, были счастливы, появился на свет сын, будущее казалось прекрасным...

Дело с переездом решил отец.

Эти наброски – о нем.

Начну издалека: без хотя бы краткого рассказа о его первых сорока прожитых годах трудно понять, как он попал в Ульяновск и почему так скоро его покинул. Впрочем, в отношении меня – моего здоровья, моей учебы – наша короткая ульяновская жизнь превзошла все самые робкие надежды и самые смелые мечтания.

* * *

Родился отец 13 января 1926 года. В паспорте стояли другие число и месяц – 19 февраля. Он часто пошучивал над этой ошибкой: будто бы из-за сильной метели только 19-го его «батька» поехал в районный ЗАГС, а уже годы спустя, когда после войны паспорт выдавали, перепутали январь с февралем... В общем, первая страница его биографии занесена метелью...

Мама всегда была в затруднении, когда же отме-

чать его день рождения, покупать и вручать подарок. Отец не затруднялся: он просто не праздновал свой день рождения. Ни в один из тех трех дней, что так щедро подарил ему невесть кто. Он не любил домашние праздники, не любил гостей, вообще не любил ничего, что отрывало его от письменного стола.

Больше всего на свете он любил родную Сальскую степь и свои романы.

Он родился на Дону, в пристанционном поселке Зимовники, в семье сапожника, знаменитого на всю округу. Родитель его – хохол Василий Карпенко – происходил из иногородних крестьян Области войска Донского, выходцев из Малороссии. В Гражданскую войну вступил в Красную армию, воевал, остался инвалидом. Родительница, Анастасия Иванова, – из великорусской казачьей семьи; выданная за хохла замуж, свою казачью фамилию менять не стала.

От донских хохлов отец унаследовал упорство в работе, умение гнуть свою линию. От донских казаков – горделивость, независимый нрав, горбинку на носу и черные волосы, густые и кучерявые: кто-то из дальних предков женой привел в дом полоненую турчанку или персиянку.

В семье родилось трое детей. Первенец – дочь Надежда – умерла подростком. Вторым стал сын Алексей. Третьим и последним – Владимир.

* * *

В сентябре 32-го, в 6 лет, вместе со старшим братом самовольно явился в 1-й класс начальной школы хутора Барабанщикова. С разрешения учителя ходил на уроки, как сам он выразился, «не взыправдашним школьником» до первого снега. На следующий год стал «взыправдашним». Семья переехала, и с 3-го класса продолжил учебу в средней школе станицы Кутейниковской.

До войны успел окончить 7 классов. До занятия немецкими войсками Калмыцкого района Ростовской области в августе 42-го – еще и 8-й.

Пять месяцев, до начала января 43-го, прожила их семья «под немцем».

После освобождения, в мае 43-го, его призвали в Красную армию. Два месяца осваивал артиллерийские премудрости в учебном батальоне запасного полка, стоявшего в разрушенном Сталинграде. Получил на погоны три лычки сержанта. Служил в зенитной артиллерии, командовал орудием. Его полк занимал позиции на берегу Волги, чуть ниже Энгельса, защищал Саратовский железнодорожный мост от немецких бомбардировщиков.

Сутками напролет один за другим грохотали по мосту составы: с Урала и из Сибири везли на фронт боевую технику, оружие, боеприпасы, пополнение. Каждую ночь налетали самолеты врага. Сброшенные бомбы рвались вокруг моста, на позициях зенитчиков, в поселке, на станции, – но в мост ни одна не попала: помешал плотный огонь зенитных батарей.

19 апреля 44-го сержант Карпенко получил осколочное ранение правой кисти. Хирурги в эвакуогоспитале, что размещался в Энгельсе, ампутировали, как записано в истории болезни, «нижнюю треть правого предплечья». Как-то в разговоре с мамой, еще до моего рождения, отец обмолвился, один-единственный раз: руку можно было спасти, хирургам просто нужно было потратить на него побольше времени.

С тех пор отец не любил врачей и не доверял им. Лекарства не пил.

По рассказу мамы, зимой 59-го, когда до Астрахани докатилась волна страшного «азиатского» гриппа, он свалился первым из нашей семьи. Весь пылал от жара, заходился в кашле, но о микстурах с порошками даже слышать не хотел. А жили мы тогда с бабушкой, маминной мамой, вчетвером в небольшой комнате. Мама не выдержала, сказала, что сходит за продуктами, и из ближайшей телефонной будки вызвала, как тогда еще говорили по старинке, «карету скорой помощи». Приехал пожилой врач. Переступив порог, принялся снимать пальто. Едва отец увидел белый халат – удивление тут же сменилось враждебностью. Бросил резко, будто за дверь выставил: «Я вас не вызывал. Ваша помощь мне не нужна». Врач растерялся, маме было страшно неловко перед ним. Провожая его до лестницы, сокрушенно извинялась. На прощание тот дал совет: «Когда ваш мальчик заболет – с вызовом кареты не медлите».

Пару раз отец и мне говорил с горечью, все же утихшей с годами, о том, что «руку можно было сохранить», что хирурги лишили его возможности писать картины. Я как-то спросил, уже в Ульяновске: «Но ведь книги ты пишешь левой рукой... Разве ты не смог бы кисточку держать в левой руке?». Ответил он как-то сухо: «Можно и левой рукой писать картины... Но грунтовать холст одной рукой – нельзя». Боюсь, показалось ему, что я не принимаю близко к сердцу его застарелую боль.

Отец носил протез телесного цвета, из пластмассы и кожи. Такие бесплатно изготавливали в специальных мастерских, по направлениям «райсобесов» – районных отделов социального обеспечения. Мальчишки на улице, замечая протез, останавливались и пялились на него. Особенно часто – в летней Астрахани. Это были мальчишки послевоенного поколения, кругом они видели много безруких и безногих фронтовиков, привыкли к голым культям и скрипучим «деревяшкам», а вот «искусственная рука» им была в диковинку. Отцу их любопытство досаждало, и он старался как-то убрать протез с их глаз: то заводил правую руку за спину, то упирал кисть протеза в бок, укрывая ее в складках просторной летней рубашки.

Смущало его, а то и раздражало, и невольное, искреннее сочувствие добрых знакомых. При фотографировании он обычно слегка поворачивался к фотографу левым боком, чтобы телом прикрыть протез. А когда увлекался разговором, когда выступал, часто левой рукой машинально накрывал и сдавливал кисть протеза, слегка сжатую в кулак. Будто брал себя за руку, которую потерял.

* * *

Вернувшись из Энгельса в родные края, он доучивался в Зимовниковской средней школе. В последний военный год, девятиклассником, начал писать роман «Отава», основанный на пережитом во время немецкой оккупации. По его словам, «первый роман писал на подоконнике», «карандашом исписал целый ворох учебных тетрадей».

В 48-м его приняли в Ростовское художественное училище имени Грекова, на живописно-педагогическое отделение.

В августе 53-го окончил училище, защитив ди-

пломную работу – эскиз картины «Коровы». Во время защиты некоторые члены комиссии раскритиковали эскиз: дескать, почему у коров такие «ленивые позы»? почему нет людей – «советских колхозников, строителей социализма»? вообще, почему не чувствуется «энтузиазма социалистического строительства»? Со смерти Сталина прошло полгода, дышалось полегче – посудили-порядили и поставили «отлично».

Отец ту критику запомнил. Злопамятным он не был. Просто у него была очень хорошая память художника и писателя.

Получив диплом учителя рисования и черчения, по «путевке» Министерства просвещения РСФСР он приехал в Астрахань. Его распределили в Казахское педагогическое училище, работавшее в казахском поселке Володаровка. В Казпедучилище он вел уроки не только по рисованию, но также, за отсутствием преподавателей, по истории искусств и русской литературе.

В Володаровке познакомился со своей будущей женой – Изой Лиманской. Уроженка Энгельса, дочь погибшего офицера, она после окончания исторического факультета Астраханского пединститута в том же 53-м получила распределение в то же Казпедучилище. А во время войны она жила со своей мамой в поселке Анисовка, совсем рядом с Саратовским железнодорожным мостом и с боевыми позициями зенитно-артиллерийского полка, в котором служил сержант Владимир Карпенко. Каждую божью ночь, от темна до рассвета, слышали они общий грохот выстрелов зениток и разрывов немецких бомб.

Такое вот случилось двукратное перекрестье судеб моих родителей...

* * *

В Володаровке отец дописывал и переписывал «Отаву», сочинил пьесу о студентах-художниках.

Как-то в учительской подошел к преподавательнице истории Изе Лиманской и попросил отвезти пьесу в Астраханский драматический театр: знал, она часто ездит в город, где живет ее мама. Та легко согласилась: театр – недалеко от их дома, и любила она его до самозабвения, старшеклассницей и студенткой не по одному разу пересмотрела все спектакли. Заведующий литературной частью театра пьесу взял, прочел и в следующий ее приезд вернул со словами: «Автору надо учиться». Передала начинающему писателю его пьесу с теми же точно словами – он поблагодарил с усмешкой.

Я хорошо знаю эту многозначительную усмешку отца: была в ней и уверенность писателя-самородка в своем таланте, и сочувственное пренебрежение к тем, кто не смог этого таланта оценить. Вообще, при желании много чего можно было прочесть в его усмешках...

Когда в январе 54-го Изу Лиманскую взяли на работу в Астраханский обком комсомола, она вернулась в город уже невестой. В марте они поженились, однако новоиспеченный супруг тут же уехал обратно в Володаровку, дорабатывать в Казпедучилище до конца учебного года.

Именно из Володаровки, в конце мая 54-го, он отправил по почте в Москву заявление в Литературный институт имени Горького, на дневное отделение прозы. В качестве творческой работы представил первые

главы «Отавы». Успешно выдержав творческий конкурс и сдав вступительные экзамены на «отлично» и «хорошо», в августе стал студентом-первокурсником. По рассказу мамы, он мечтал о дневном отделении, но зачислили его на заочное. Очевидно, сам попросил из-за предстоящего рождения ребенка. После перевода на 2-й курс его, как инвалида Великой Отечественной войны, освободили от платы за обучение.

Из Казпедучилища его не отпускали, так в сентябре, в самом начале нового учебного года, он уехал к жене в Астрахань самовольно.

И сразу устроился в Художественный фонд при Астраханском отделении Союза художников РСФСР, в живописный цех.

Самым главным и самым ответственным делом его новых коллег, художников, было написание портретов руководителей КПСС и Советского правительства для наглядной агитации и демонстраций трудящихся 1 мая и 7 ноября.

В живописный цех часто наведывались инструктора Отдела пропаганды и агитации Астраханского областного комитета КПСС, а то и сам заведующий отделом. Они придирчиво оценивали свеженарисованные портреты – похож или не похож?, – давали «ценные указания». Ну и как положено, «идеологически подковывали» самих «работников кисти и холста».

Пришел новый, 55-й, год, суливший большие, радостные перемены в жизни молодой четы, и отец начал его тем, что за месяц-полтора до моего рождения взял и уволился из Художественного фонда. Маме объяснил свой шаг просто и бесповоротно: дескать, нет никакого «творчества» в написании портретов вождей. Все же главная причина заключалась в ином: из-за инвалидности решил окончательно расстаться с живописью и посвятить себя литературной работе, сосредоточиться на учебе в Литинституте.

Он еще не знал тогда, как сильно повлияют на его судьбу, на судьбу его жены и будущего ребенка эти пять месяцев «нетворческого» написания портретов Ленина и Хрущева – уже, к счастью, не Сталина и Берии – под бдительным присмотром идеологов Астраханского обкома.

* * *

На листке отрывного календаря 1955 года – 21 февраля, понедельник – отец написал чернильной ручкой: «1.45 ночи родился сын Сережка. Ура!!!».

Ночь моего рождения едва не стала ночью смерти моей мамы.

Из трехместной палаты, где она лежала, вывезли в коридор койки с двумя другими только что родившими, переносной перегородкой – высокой, с квадратными матовыми стеклами – отгородили ей бокс. Главный врач во время утреннего обхода, чуть задержавшись у приоткрытой двери в ее пала-

ту, сказал своей белохалатной свите: «Эта больная не выживет...». Слишком громко сказал – мама расслышала. Никого к ней не пускали, оставили умирать в одиночестве.



Владимир Карпенко и Иза Лыманская с сыном. 1958 г., Астрахань

Отцу акушеры растолковали доходчиво: полное заражение крови, никаких надежд на выздоровление, счет идет на дни, спасти может только пенициллин, а его в роддоме нет, вообще в городе нет. И посоветовали участливо: «Ищите корову – кормить мальчика молоком».

Отец никогда не рассказывал мне об этом. Знаю со скупых слов мамы, как-то нехотя проговоренных незадолго до смерти: он кинулся в обком партии, к кому-то из тех работников-идео-

логов, что приезжали в живописный цех, – и скоро примчался обратно в роддом, левой рукой прижимая к груди коробку с ампулами. Выдали ему эту коробку в обкомовской спецполиклинике. Мама пролежала в боксе больше двух недель, пенициллин ей кололи каждые три часа. Спасли.

Спустя несколько лет, во время прогулки по старому центру города, отец показал мне чуть покусившиеся, почерневшие от дождей дощатые ворота и забор, из-за которых выглядывала низкая крыша деревянного дома. И с добрым смешком произнес: «А вот там, Сережка, жила корова, которая вскормила тебя...». Каждое утро он бегал туда с трехлитровым бидоном.

* * *

В начале февраля 55-го, посреди учебного года, отец устроился учителем рисования в среднюю школу №24. В сентябре 56-го перешел в Астраханский строительный техникум преподавателем черчения и рисования. Через год с небольшим в техникум взяли и маму, преподавателем истории.

В 56-м, в школе, его приняли кандидатом в члены КПСС. В 57-м, уже в техникуме, – в члены партии.

Наездившись в Москву на сессии, в декабре 60-го он окончил Литературный институт. Как дипломную работу защитил свой первый роман «Отава». На «отлично».

Руководителем дипломной работы ему назначили писателя Алексея Карцева – уроженца Симбирска, до конца жизни не порывавшего связи с литературным Ульяновском. Встреча с ним в стенах Литинститута, похоже, стала для отца неосознанным предзнаменованием. Замечаний у руководителя набралось немало, особенно по части «языка и стиля письма», но заключение свое он завершил хвалебно: «...Дипломный труд студента Карпенко, по-моему, вполне может быть принят нами как свидетельство его творческой одаренности, способности достойно и полноценно доработать свое произведение для его издания».

* * *

В феврале 63-го в судьбе отца произошел поворот, который вряд ли предполагал начинающий писатель. Ему предложили перейти на работу в Астраханский обком КПСС, в Отдел пропаганды и агитации.

Переход преподавателя техникума, чей стаж в партии не достиг и шести лет, на «освобожденную» партийную работу сразу в областной комитет – история, совсем не обыкновенная. Без секретарства в «первичной организации», без подъема



«Отава». Книга первая. Астрахань, 1963. Обложка. Художник А.И. Камкин

по должностной лестнице в райкоме или горкоме... Обязание есть только одно: Хрущев решительно изгонял из партийного аппарата пропагандистов сталинской закваски, требовал заменять их талантливой творческой молодежью, способной «оживить» идеологическую работу среди населения. А таких еще надо было поискать... У преподавателя строительного техникума Карпенко было два образования – художника и литератора. Написан роман о комсомольско-молодежном подполье на оккупированном Дону. Накоплен уже немалый опыт педагогической, воспитательной работы. Был за плечами и фронтовой опыт, особенно высоко ценимый по тем временам.

Ну и, конечно, кто-то из обкомовских идеологов рекомендовал его настойчиво и умело. Кто-то неизвестный мне, кому он приглянулся еще во время работы в живописном цехе... Возможно, этим неизвестным был сам заведующий Отделом пропаганды и агитации Иван Ермолаев. Уроженец Воронежской земли, всего двумя годами старше отца, тоже фронтовик и тоже артиллерист, в 43-м за уничтожение нескольких немецких танков он получил Героя Советского Союза. Кто знал его – сразу вспоминает: хороший был человек, добросердечный, очень симпатичный, улыббался широко.

С легкой душой принял отец предложение или с сомнениями, строил какие-то расчеты или положился на его величество случай – чего не знаю, того не знаю.

На собеседовании в обкоме, как он потом рассказывал маме, кто-то из высокого начальства его кандидатуру тут же и одобрил: «Молодой – это хорошо: много сил, энергии...». На что он отвечивал, вздохнув в своей обычной, едва заметно деланной манере умудренного годами: «Да вы знаете, у меня такое чувство, что я уже устал от жизни...». Умел он лечь на душу кому нужно и когда нужно. Решением бюро обкома его «утвердили» инструктором Отдела пропаганды и агитации.

А рукопись «Отавы» между тем легла на стол редактора книжной редакции астраханского издательства «Волга» Николая Поливина, известного уже поэта. В те времена в Астрахани художественные произведения печатались крайне редко: «Волга» была



«Отава». Книга первая. Астрахань, 1963. Титульный лист. Художник А.И. Камкин

обкомовским издательством. И вот однажды, как вспоминала мама, Поливин и обрадовал своих нескольких собратьев по перу, и расстроил: дескать, «наверху» принято решение издать их произведения, но только без гонорара. Отец – единственный, кто согласился.

Летом 63-го увидел свет 1-я книга романа «Отава» – тоненькая, меньше двух сотен страниц, но в твердом переплете. На последней странице ее редактором указан Н.Г. Поливин. А на первой стоит посвяще-

ние в две строки: СЫНУ Автор.

Уже осенью, по одной этой тоненькой книжке, напечатанной 15-тысячным тиражом, отца приняли в Союз писателей.

В тот год они вместе – редактор «Волги» Поливин и инструктор обкома Карпенко – «пробивали» создание в Астрахани отделения Союза писателей. В конце октября их старания, как и усилия областных властей, увенчались успехом: Совет министров РСФСР принял решение о создании Астраханского отделения Союза писателей. Его ответственным секретарем члены отделения заслуженно выбрали Поливина. Естественно, с предварительного одобрения обкома.

Так и получилось, что советский писатель Владимир Карпенко и Астраханская писательская организация – ровесники.

Обкомовское начальство работой отца было довольно, и в январе 64-го повысило: бюро обкома «утвердило» его заведующим Сектором печати Идеологического отдела (так недолгое время, при Хрущеве, назывались Отделы пропаганды и агитации).

22 февраля 65-го – мне только что исполнилось 10 лет – в ходе очередной реорганизации партаппарата он поднялся еще на одну ступеньку: бюро обкома «утвердило» его заведующим Сектором печати, радио и телевидения Отдела пропаганды и агитации. Астраханскому телецентру шел только третий год, и отец – судя по домашним разговорам – увлеченно помогал ему встать на ноги.

* * *

В августе 64-го, менее чем за два месяца до отстранения Хрущева от власти, в жизни страны произошло событие, которое стало – выражаясь заезженно, но точно – переломным в судьбе писателя Владимира Карпенко: Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор Революционного военного трибунала от мая 1920 года в отношении командира конного корпуса Бориса Думенко и пятерых его боевых соратников. Проще говоря, реабилитировала посмертно. В феврале 65-го «Неделя», любимое советским народом приложение к газете «Известия», напечатала большую статью историка Василия Поликарпова «Комкор возвращается в строй».

Отцу не нужно было объяснять, кто такой Борис Думенко. Не было нужды и убеждать в его невинности перед Советской властью. Громкое это имя он слышал с раннего детства – за общим столом, в отцовской сапожной мастерской, на завалинке. На трезвую голову произносили его разные «дядьки» чаще вполголоса, а по пьяному делу – в полный крик: «Думенку не трожьте... горло перегрызу!..».

Много легенд о Думенко сохранила Сальская степь. Братоубийство Гражданской войны, «красные» и «белые», хохлы и казаки, «наши» и «контра», крестьяне и «кадеты», конники Думенко и Буденный, атаман Краснов и генерал Деникин – все эти слова и образы он впитал вместе с разговорами взрослых «дядек». Горячими и небезопасными они были на Дону, такие разговоры «промеж себя» в те времена.

Перед самым выходом «Отавы» отец для какой-то надобности набросал – кратко, но художественно – что-то вроде литературной автобиографии. Вот ее начало:

«Сам я из Сальских степей. Вся родня моя – буденновцы. Стихию ту прихватил еще не остывшей от боевых схваток рубки. С ладоней у них не сошли еще мозоли от витых рукояток клинков...»

За одни столом – казак и хохол, вчерашние смертельные враги. Песни, объятия, поцелуи. И вдруг – совершенно трезвый голос:

– Пашка... а ты где был, когда земля горела?!

Корявая рука тянется к бутылке... Хряп! Полилась казачья кровь... Черной кажется она при ламповом свете».

После реабилитации Думенко, их первого командира, немало «буденновцев» живо переименовало себя в «думенковцев» – в тех, кем они и являлись на самом деле. На престарелого маршала Буденного обрушились хула и проклятия, обвинения в том, что он предал память своего несправедливо осужденного и расстрелянного командира, присвоил себе его победы и заслуги создателя первых конных частей Красной армии.

Отец отложил в сторону почти законченный роман о художниках и начал собирать материалы для романа о Думенко. За документами обратился в московские архивы, за воспоминаниями – к донским ветеранам, знавшим лихого конника. Прикинув, замахнулся на диологию. Такую тему «поднять», раскрыть в прозе – требовалось немало лет: «переварить» сложнейшую историческую фактуру и написать два «кирпича», как он выражался. И в марте 65-го он подал заявление об уходе из обкома КПСС.

Мотивировал его необходимостью перехода на творческую работу, своими новыми литературными замыслами: дескать, как воздух нужны его будущие романы партии и народу, важны для идеологического воспитания строителей коммунизма... Такие слова требовались в те времена.

Литературная работа дома, если ты член Союза писателей, законом тогда позволялась, «тунеядством» не считалась.

Его как взяли в Астраханский обком легко, так и отпустили легко.

В этом своем выборе он не колебался. И никогда о нем не пожалел.

Но семью надо было кормить, и в феврале 66-го он устроился старшим редактором в бывшее

издательство «Волга», двумя годами ранее ставшее Астраханским отделением волгоградского Нижневолжского книжного издательства. Образование позволяло, редакторская работа пришлась по душе. Да и понял уже, о чем говорил мне не раз: «Написать роман – легче, чем издать». Иными словами, писателю лучше держаться поближе к издательскому делу.

Опять стал ездить в Москву. Неделями жил в хорошо знакомом ему общежитии Литинститута: устраивали его туда по старой и доброй памяти.

В Главной военной прокуратуре от первого листа до последнего просмотрел объемистое архивно-следственное «дело Думенко». Перелистал и переписал в блокноты множество документов в Центральном государственном архиве Советской армии. Перезнакомился с архивистами и военными историками, знатоками Гражданской войны на юге. А еще – с военными юристами, занимавшимися реабилитацией Думенко.

От военных прокуроров узнал, что проверка материалов «дела Думенко» потребовала, в отличие от других дел, двух с половиной лет кропотливого труда: ведь расстреляны Думенко и его подчиненные были «при Ленине», а не во время сталинских массовых репрессий. Что пришлось отбивать «наскоки с шашкой наголо» Буденного и его сторонников, пытавшихся не допустить реабилитации Думенко. Тогда-то он и осознал: реабилитации вполне могло и не быть, если бы заседание Военной коллегии не успели провести до снятия Хрущева. А значит, борьба за Думенко далеко не закончена.

Одно такое знакомство – с заместителем Главного военного прокурора Борисом Викторовым – оказалось «судьбоносным». Как оно состоялось, отец описал в предисловии к первому роману диологии о Думенко:

«Малая формальность – меня приняли. Молодой генерал, коренастый, плотный, с бледным интеллигентным лицом, застенчивым взглядом. Придавливая крупной белой кистью пухлую засаленную папку, говорил с укором, глядя мимо меня в окно:

– Думенко на Дону, в Сальских степях... К народу надо за ним ехать.

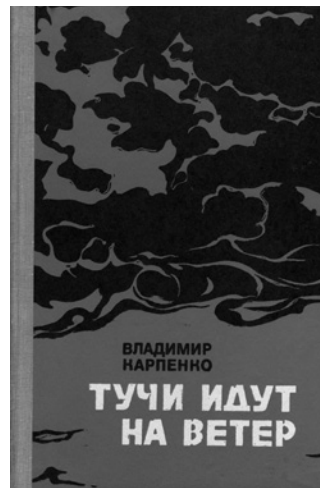
– Оттуда я, из Сальских степей...».

Пройдет четверть века, и сам Борис Викторов

расскажет в своих записках военного прокурора «Без грифа “Секретно”» о первой встрече с «начинающим ростовским писателем» Карпенко.

* * *

Первый роман диологии о Думенко – «Тучи идут на ветер» – отец написал в Астрахани за два года. Сокращенный вариант предложил саратовскому журналу «Волга». И без передыха взялся за первую главу второго романа: Думенко, тяжело раненного в конном сражении на Салу, привезли в



«Тучи идут на ветер». Саратов, 1972. Обложка. Художник Р.А. Батаршин

Саратов, в хирургическую клинику знаменитого профессора Спасокукоцкого...

Между тем Буденный и его сторонники писали и писали в ЦК КПСС: настаивали на том, что реабилитация «бандита» и «врага Советской власти» Думенко – ошибка, и партия обязана эту ошибку исправить. А еще требовали «примерно наказать» тех, кто «обеляет» и «восхваляет» Думенко в печати. Заслуженному маршалу, герою из школьных учебников в письмах из «высоких», как выражался отец, кабинетов на Старой площади уважительно и терпеливо разъясняли: решение партии о реабилитации Думенко пересмотру не подлежит. Не действовало.

В этой накалявшейся вокруг имени Думенко обстановке мужественное решение опубликовать «Тучи идут на ветер» принял главный редактор «Волги» писатель Николай Елисеевич Шундик. «Пробить» роман ему помогли и его собственные авторитет, и изощренная опытность, и активное содействие поэта Виктора Кочеткова, заведующего отделом прозы редакции «Волги», который подружился с отцом. Цензура придирчиво проверила каждую строчку, что-то вычеркнула без разговоров, но «пропустила» роман, поскольку фамилия «Думенко» в «запрещенном списке» отсутствовала.

В итоге роман «Тучи идут на ветер» впервые увидел свет в журнальном варианте – в трех номерах «Волги», выпущенных в мае, июне и июле 67-го.

«Снятие» последних замечаний редактора и вычитка верстки, подписание в печать и получение авторских экземпляров, еще остро пахнущих типографской краской, – пора для всякого писателя счастливая и вдохновляющая. Для отца она омрачилась ухудшением моего здоровья, осложнилась вынужденным отъездом из Астрахани.

Он отправился в Москву, обратился за помощью в Правление Союза писателей РСФСР, объяснил жизненную необходимость переезда в среднюю полосу. Ему пошли навстречу. Ведь то в одном областном городе, то в другом по разным причинам требовалось «избрать» нового ответственного секретаря местного отделения Союза, обязательно члена партии. А новый кандидат был не просто членом партии, а имел двухлетний опыт идеологической работы в обкоме КПСС.

Ему сразу предложили Калугу, чуть позже – Орел. Естественно, предварительно переговорив с Калужским и Орловским обкомами КПСС: должность ответственного секретаря отделения Союза писателей – обкомовская «номенклатура».

Отец, уловившись в апреле 67-го из издательства,



«Пикник» ульяновских писателей – неформальное знакомство с новым ответственным секретарем. Июль или август 1967 г. Слева направо: второй – Анатолий Наумов, третий – Владимир Карпенко, четвертый – Андрей Царев, пятый – Николай Рябинин, шестой – Василий Дедюхин, седьмой – Борис Бызов. (Это, вероятно, было обычное место для таких выездов на природу; находилось оно в лесу недалеко от берега Волги, где-то выше железнодорожного моста, Волга была совсем рядом, виднелась внизу через прогалины. Приезжали на маленьком старом автобусике с капотом, довоенных и военных времен)

съездил туда и туда.

Калуга ничем его не привлекла, кроме близости к Москве: всего-то три часа электричкой. А вот Орел понравился, да и до Москвы ехать лишь на пару часов дольше.

Уже склонились родители к Орлу, как дома голосом отца прозвучало слово «Ульяновск». Прозвучало как-то веско, почти директивно: мол, предложили, дали время подумать, но ехать по всему надо туда. «Ничего не попишешь...» – говаривал в таких случаях отец. Мама не то что обрадовалась, а, скорее, утешилась: Ульяновск – это остаться на Волге, родной и для нее, и для меня. Отцу ничто не могло заменить родной Сал и Сальскую степь.

Я ушел на свои летние каникулы, последние в Астрахани, а он спешно и налегке уехал в Ульяновск. Потом раза два-три возвращался ненадолго.

Помню обрывки его первых рассказов об Ульяновске: будто бы число писателей в областном отделении сократилось до минимально возможного, и ему грозило присоединение к отделению какой-то из соседних областей. Тогда оно потеряло бы «самостоятельность», из полноценного отделения превратилось бы в «филиал». Нельзя такого допустить на родине Ленина! Потому, дескать, и потребовался срочный приезд на постоянное жительство хотя бы еще одного члена Союза писателей...

Помнить-то я помнил всегда, но особого значения этому не придавал. А теперь задумался: вроде никто из ульяновских писателей тогда, в первой половине 67-го, не умер, никто не переехал в другой город. Ответственным секретарем уже лет десять состоял тяжело израненный на войне, но вполне здоровый, бодрый и работоспособный Василий Дедюхин, прозаик и драматург. Почему Ульяновский обком КПСС решил заменить его накануне 50-летия Октябрьской революции и за три года до 100-летия со дня рождения Ленина? Опять же чего не знаю – того не знаю. Документы надо смотреть.

* * *

В трудовой книжке отца сделана запись, датированная 1 июля 1967 года: «Зачислен на должность ответственного секретаря Ульяновского отделения Союза писателей РСФСР».

25 июля бюро Ульяновского обкома КПСС приняло решение «утвердить тов. Карпенко В.В., члена КПСС с 1957 года, ответственным секретарем Ульяновского областного отделения писателей РСФСР, освободив от этой должности тов. Дедюхина». Неправильное название отделения в протоколе № 44 заседания бюро обкома – ошибка не моя, а составителей протокола.

Почувствовав в отправке железной дорогой контейнера с мебелью, книгами и прочими тяжестями, отец оставил маме все хлопоты по упаковке всякой домашней мелочи в картонные коробки – их она выпрашивала у продавщиц в гастрономе, – по оформлению разных документов, включая мои школьные и больничные.

В Ульяновске он поселился в гостинице «Волга». Часто звонил нам, рассказывал о своих делах. Подолгу они с мамой обсуждали подготовку к нашему поезду. Наметили его на первые числа сентября. Мама решила не поездом ехать, а плыть теплоходом, в двухкомнатной каюте люкс, чтобы разом перевезти коробки. Этих туго перетянутых веревками коробок из-под коровьего и шоколадного масла становилось все больше, а наша двухкомнатная квартира пустела на глазах, превращалась в какой-то склад.

* * *

Чехословацкий трехпалубный теплоход «Октябрьская революция» за пять дней и ночей перевез маму и меня из лета в осень.

В Астрахани еще властвовала жара – в Ульяновске хозяйничал утренний прохладный ветерок с севера, пасмурное небо дышало сыростью, деревья подернулись желтизной.

Из последней нашей астраханской квартиры, на улице Советской, ехали на 17-ю пристань на такси. Отец на речной вокзал Ульяновска прикатил встречать нас на дежурной обкомовской «Волге».

Помимо водителя с ним был еще человек – в очках, бежевом плаще и соломенной, «хрущевской», шляпе с полями. Улыбчивый и тихий. Мне он показался стариком. «Андрей Иванович Царев, ульяновский писатель», – представил его отец. «Вы, Владимир Васильевич, теперь тоже ульяновский писатель», – почтительным тоном, но с лукавой смешинкой в глазах уточнил тот. Что ответил отец – не помню. Что подумал – кто знает.

Перетаскали с теплохода коробки, установили их в багажнике и салоне. Меня усадили на заднее сиденье, между родителями, какую-то небольшую коробку примостили у меня на коленях. Едва отъехали от речного вокзала – заморосил дождь. Мама расстроено посмотрела на небо, как-то разом посмуревшее.

Царев – он сидел впереди, вполоборота к отцу – перехватил ее взгляд и с ободряющей улыбкой произнес:

– Приехать на новое место в дождь – добрая примета.

Не раз я с благодарностью вспоминал эти слова.

Ехать оказалось высоко, но недалеко.

Отец накануне переселился в двухкомнатный номер 330, на третьем этаже, выходящий двумя окнами на улицу Карла Либкнехта, перед самым ее перекрестком с главной улицей города – Гончарова.

Еще раз перетаскали коробки. Уже в четвертый,

считая отъезд из Астрахани. С каждым разом их будто прибавлялось. А дождь усилился. Отец попросил обкомовского водителя отвезти Царева куда тому требовалось. Наш с мамой новый знакомый писатель стал было отнекиваться, отмахиваться от такой чести, но тут же и уступил с улыбкой: мол, делать нечего, раз начальство предлагает.

Расставив с моей помощью коробки по номеру, мама какие-то сразу принялась распаковывать, доставать вещи, нужные отцу поскорее. Извлекла свой любимый будильник «Дружба» со слоником на циферблате, завела, и тот мерно затикал – новая жизнь, ульяновская, началась...

* * *



А. Кузнецов, Андрей Царев, Владимир Карпенко и Василий Дедюхин. Лето 1967-го или 1968 г.

Андрея Царева – известного в Ульяновске журналиста, автора стихов и рассказов для детей – я потом не раз видел рядом с отцом: в отделении Союза писателей, на встречах с читателями в городском парке культуры и отдыха имени Свердлова, во время скромного «пикника», устроенного писателями на берегу Волги по случаю нашего с мамой приезда. И на фотографиях тех лет они часто плечом к плечу. Чтобы он бывал

у нас в гостях, сидел за накрытым столом – такого не помню. Отец, повторю, гостей не любил. Лишь однажды, совершенно неожиданно, переступил он порог нашей квартиры.

В этом его стремлении держаться поближе к новому ответственному секретарю, «плотно» общаться с ним не было, уверен, ничего корыстного и подхалимского. Отец был очень чуток на такие вещи, улавливал их мгновенно, не переносил и реагировал на них остро. Порой шутил с издевкой над такими людьми. И шутки эти быстро доходили до их «героев». Мог и по лицу хлестануть едкой усмешкой, а то и фразой, смысл которой доходил небыстро, но оттого было еще больнее. В адрес Царева не помню я ни фраз таких, ни интонаций, ни тем более усмешек. Напротив, отец всегда говорил о нем по-доброму. По всему, был благодарен ему за поддержку, за подсказки и советы, очень нужные в новом городе и в новой обстановке.

А была она – о чем я тогда и догадываться не мог – непростой. И проистекали сложности из тяжелого, массивного здания на площади Ленина – Ульяновского обкома КПСС. Точнее, от тех людей, кто руководил оттуда «идеологическим воспитанием советского народа». Руководил, исходя из непоколебимой убежденности, что родина великого Ленина должна быть «святей» всего и вся. Даже – Старой площади.

Вот о Василии Дедюхине пару раз мельком довелось мне услышать от отца, в его домашних разговорах с мамой, что-то сдобренное усмешкой. Впрочем, ничего злого или уничтожительного в его словах и этой его усмешке не было. Это точно. Скорее, какое-

то сочувствие и сожаление. Видимо, не складывались у них добрые отношения, у бывшего ответственного секретаря и нынешнего.

Кто лег на душу отцу – это молодой поэт Анатолий Наумов. Дома только и слышалось: «Толя... Толя...». А вот поэтов Николая Благова и Владимира Пыркова называл по фамилиям.

* * *

Вообще, отец, когда ему хотелось или нужно было, умел располагать к себе людей. Сразу и самых разных. Помогали обаяние, простой, без претенциозных умствований, юмор и умение, как он это называл, «строить фразу» не только на бумаге, но и в разговоре.

Обаяния отец был безмерного и неумного, какое-то оно было врожденное. Первой же фразой, интонацией, выражением лица, жестом, всем своим видом он располагал к себе человека. Порой – просто очаровывал. Заодно поднимал настроение.

Впервые я заметил это еще в детских яслях. Грустная, томительная обстановка вечернего «разбора» детей мамами-папами и бабушками-дедушками вдруг сменялась оживлением нянечек и воспитательниц, смехом и шутками. Это отец пришел с работы забрать меня. Когда мама приходила – все было очень вежливо, но серьезно, а то и строго.

И другим завидным качеством обладал он: умением самозабвенно радоваться самым простым радостям жизни и отводить от сердца большие беды и серьезные трудности. Может, потому он с ними и справлялся. Может, потому многие и дорожили общением с ним, прислушивались к его мнению, просили совета и помощи, поверяли душевные тайны. Один из его преданных друзей, выдающийся литературный критик и исторический писатель Олег Михайлов рассказывал мне об этом...

Не хуже, чем очаровывать, получалось у отца и задевать людей, сеять в них обиду. И все – тем же самым: фразой, интонацией, усмешкой. Было за что обижаться на отца, не любить его, а то и похуже... Он как-то не мог скрыть, удержать в себе пренебрежение к «дуракам». А особо – к графоманам, понапрасну переводящим бумагу и время редакторов. Шутки его выдавали, прищур, усмешка. Кстати, когда он шутил, насмешничал – обычно переходил на родной сальский говор. Не раз

слышал я от него о ком-то, кого уже и не вспомню: «В писательском деле, Сережка, талант нужен. А ежели таланту нема...».

Усмешка его была богатой палитры: от очень мягкой и добродушной, приободряющей и ироничной до едкой, задевающей глубоко и сильно. Мне понравились его усмешки, я копировал их невольно. А вот маме больше нравились его серьезность, сосредоточенность, задумчивость.

У разных людей отец разную память о себе оставил.



Владимир Карпенко за письменным столом. Зима – весна 1968 г.

У кого-то сохранилась самая добрая память и благодарность ему, а кто-то до конца берег недобрые чувства. Как Николай Поливин, прекрасный поэт. Порой, благодаря стихам последних лет, его ставят рядом с Сергеем Есениным. Кстати, Есенин был самым-самым любимым поэтом мамы; этой маминной любви я и обязан своим именем.

Так вот Поливин и отец крепко подружились в Астрахани. А потом – ссора на всю оставшуюся жизнь... Кое-что удалось мне выяснить о подоплеке их ссоры, но быть им судей – слишком много чести для меня.

* * *

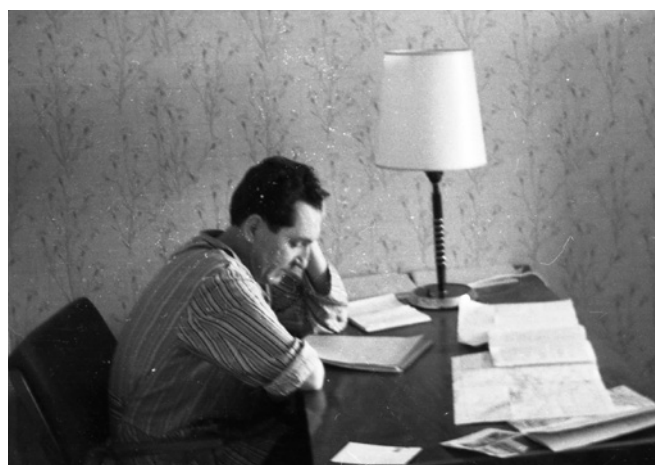
Месяц спустя после нашего переезда Секретариат правления Союза писателей РСФСР переименовал свое Ульяновское отделение в Ульяновскую областную писательскую организацию. Было это как-то связано с «утверждением» отца, и если да, то как именно, – не знаю. Нужно выяснять по документам.

Занимала писательская организация две или три комнаты в деревянном доме на улице Льва Толстого, по соседству с каменным зданием Управления КГБ по Ульяновской области.

Подозреваю, не отец, а главная его помощница, секретарь-бухгалтер Нина Иосифовна Беляни-

на, была настоящей хозяйкой в тех комнатах. Полная, но подвижная, добродушная и смешливая, дело свое она знала. И отец, не любитель «бумажек там всяких», доверял ей и не мешал составлять их как положено. Им ладно работалось вместе.

И маме она всегда охотно и подробно отвечала на расспросы об Ульяновске. Чисто женские, хозяйственные: где какие магазины, где что можно купить, как достать то, чего купить нельзя.



За письменным столом. Весна – лето 1968 г.



В первый же день ульяновской нашей жизни мы с мамой испытали сильнейшее потрясение. Больше мама, чем я. И отец, между прочим, нас не предупредил, не посоветовал побереечь нервы. За что мама ему потом шутливо попеняла...

После обеда в ресторане гостиницы «Волга» он сводил нас на первую прогулку – к кинотеатру «Рассвет». Дождь прекратился. С небольшой и красиво благоустроенной площадки перед «Рассветом» полюбовались мы на широкий, тускло серебрищийся разлив Волги, точнее – Куйбышевского водохранилища, и на речной вокзал, от которого уже отошла и уплыла дальше на север «Октябрьская революция». Эта площадка скоро стала нашим любимым местом в городе. Таким же она была и для многих ульяновцев.

А вот потом отец поспешил то ли на работу, то ли в номер, за стол, где его ждала рукопись. Мама же решила зайти в ближайший продуктовый магазин – купить что-то на ужин, к чаю.

Ближайший был в одном шаге от входа в гостиницу, точно напротив нее, в угловом здании на том же перекрестке улиц Карла Либкнехта и Гончарова. И назывался он совсем непривычно для нас, астраханцев, – «Диета». Но увиденное внутри, на прилавках...

В отделе мясной гастрономии закрытые прозрачным пластиком прилавки-холодильники были заполнены чем-то таким, чего в Астрахани мы не видели никогда. Даже не слышали. Буженина, карбонад, шейка, ветчина, окорок, колбаса докторская, диабетическая и языковая, сырокопченые колбасы... Правда, одну-две палки любительской в скользкой целлофановой обертке, уложенные в чемодан рядом с книгами и рукописью, отец обычно привозил из Москвы, а то ведь в Астрахани колбасы днем с огнем нельзя было сыскать.

Мама долго и растерянно изучала названия на ценниках. Мы уже мешали короткой очереди, и я стал дергать ее за рукав. Взгляд ее был ошарашенный, она с трудом оторвалась от прилавка, так и не попросив продавщицу что-то взвесить. Произнесла в мою сторону несколько негромких слов. Я их не запомнил – значит, не расслышал.

Она те свои слова тоже не запомнила. Но не раз потом вспоминала в конце жизни, какое потрясение испытала при виде того первого ульяновского прилавка, почти доверху заполненного лоснящимися глыбами буженины и разномастными палками всевозможных колбас.

Вторым потрясением стала встреча с прилавком следующего отдела, рыбного. В отличие от мясного, он сиял первозданной чистотой и пустотой. На одном эмалированном подносе лежало несколько темных и высохших то ли толстых палочек, то ли тонких полenceв. «Скажите, пожалуйста, а рыба у вас есть?» – мягко спросила мама продавщицу. «Конечно, вот она», – та кивком указала на те самые то ли палочки, то ли полenceв. «Это рыба?» – мама вытаращилась на них. Пожилая полная продавщица быстро смерила маму оценивающим взглядом. Ее явно задела такая непонятливость покупательницы, – а еще интеллигентная с виду! – и она ответила уже с легким раздражением: «Конечно. Морская. Замороженная...». И уверенно выговорила ее название. Это слово мы с мамой

тоже слышали впервые.

Мама хотела еще что-то спросить, но справилась с собой, удержалась. Она была интеллигентным человеком не только с виду. Много лет спустя рассказывала мне, о чем именно хотела тогда спросить у продавщицы: а где же судаки, щуки, сазаны, лещи? Живые – не мороженые. Вот же Волга! Под ногами. Мы же ее только что видели собственными глазами! А рыба где же?! Да и Астрахань, богатейший рыбный край, – не за тридевять земель... Но тут же осеклась. Ей пришла в голову крамольная мысль: да ведь и богатейший мясной край, Ульяновск, – не за тридевять земель от Астрахани.

В общем, в конце первого же дня нашей ульяновской жизни мы осознали: на нас свалилось, притом без всяких заявлений с трибуны о построении коммунизма, невиданное мясное изобилие, но судьба, совершенно неожиданно одарив этакой благодатью, отняла другую, привычную нам, – рыбную.

Ульяновск, по сравнению с Астраханью, оказался и богатейшим хлебным краем.

Если б я мог – написал бы поэму о мясной кулебяке из «Кулинарии», что была на улице Карла Маркса. Мама часто ходила туда за ней... Но, как говаривал отец, «талану нема, а ежели его нема – иде ж его узять...» Печальнее другое: и «Кулинарию» ту взять уже негде.

О том, какой фруктово-овощной рай мы потеряли вместе с Астраханью, и писать, наверное, не стоит.

Сразу после переезда из гостиницы в полученную квартиру, где-то в конце ноября, мы с мамой, прихватив по астраханской привычке сетки-«авоськи», пошагали на рынок. Дорогу мама у Нины Иосифовны расспросила заранее. По пути прошли, как через обычный проходной двор, через священную территорию Дома-музея семьи Ульяновых. На рынке два или три торговых ряда под узкими навесами были пугающе пусты. Лишь две женщины в пуховых платках торговали из мешков картошкой, морковкой и свеклой. Замерзший грузин в тесном пальто и кепке «аэродром» зазывно предлагал мандарины. И все!

По сравнению с изобилием, многоцветьем и многовкусьем астраханских рынков Большие Исады и Татарбазар это было... У нас и тогда не нашлось слов для сравнения, и сейчас у меня их нет.

Пока жили в «Волге», завтракали в гостиничном буфете, по вечерам пили чай в номере. Поначалу обедали в ресторане, но скоро захотелось домашней еды. А дома еще не было. Тогда мама купила электрочайник и стала варить в нем куриц. Глядя с прищуром на такой «казан», поставленный на прикроватную тумбочку, отец усмехался и ехидничал по-доброму: «Голь на выдумки хитра...». Но ел с удовольствием.



Через несколько дней после переезда отец повел нас в начало улицы Карла Либкнехта. Показал уже построенный новый дом – пятиэтажный, блочный, хрущевский. Там обком обещал дать ему квартиру. День был воскресный, и дом стоял безлюдный и молчаливый. Мы не удержались, заглянули на первый этаж: строителям остались только отделочные работы. Рядом возводились другие жилые дома.

Завершились отделочные работы на удивление быстро, и до Нового года, 68-го, мы переехали. С

одного конца улицы Карла Либкнехта на другой ее конец.

Мне было жаль уезжать из гостиницы «Волга», так понравилась она мне своим величием и уютом, но «ничего не напишешь». Трехкомнатная квартира 54 в доме 4 стала уже четвертой в жизни нашей семьи за 14 лет, считая от бракосочетания родителей. Находилась она на четвертом этаже, как и наша последняя астраханская, на улице Советской.

Однажды, возвратившись из школы, я обнаружил перед нашим подъездом грузовик с откинутыми бортами. На нем стоял ржаво-кирпичного цвета контейнер – тот самый, что загружали в Астрахани. Его двери были распахнуты. Здоровые грузчики под присмотром мамы уже поднимали на четвертый этаж самую большую и тяжелую ценность – отцовский письменный стол натурального дерева из гарнитура «Кабинет» производства ГДР.

Новоселье отметили просто и тихо, по-семейному, без гостей.

* * *

Вся жизнь в нашей квартире была подчинена работе отца. В ней царили тишина, порядок и мамина забота о муже и сыне.

Общего семейного распорядка дня не было: у отца был свой, а меня и мамы – наш. Перед школой она кормила меня завтраком, после школы – обедом, а потом уходила на работу, возвращалась поздно, и мы ужинали. Ходить ей пришлось недалеко: сразу по приезде ее приняли в Ульяновский автомеханический техникум, что на набережной Свяги. Преподавала она, как и в Астрахани, на вечернем отделении, но уже политэкономии: часов по истории директор, несмотря на звонок «сверху», наскрести ей не сумел, и это оказалось к лучшему.

Распорядок отца был подчинен его «писанине»: он писал, когда писалось, то есть круглые сутки, – ел, когда хотелось, – спал, когда наваливалась усталость. Давно привык писать по ночам: просыпался в 2-3 часа и садился за любимый письменный стол. За ним, кстати, я и пишу сейчас эти воспоминания. Вечером – после ужина, перед сном – всегда гулял. Днем два-три раза ложился на свою тахту «вздremнуть на полчасика», как он выражался. Когда я завтракал, он обычно спал после ночной «писанины», когда я обедал – иногда спал после дневной. И если он приходил на кухню «перекусить», то порой в одиночестве: доставал что-то, оставленное для него мамой, из холодильника или из кастрюли на плите. Посуду за собой мыл сам.

«Писанина» хоть и «святым делом» была для него, но отец находил время оторваться от стола и помочь маме по хозяйству: ходил в магазин за продуктами, выносил мусор, пылесосил ковровые дорожки.

Никогда не порывался он меня «наладить» из своего кабинета, если я входил с какими-то своими заботами и вопросами. «Не мешай мне работать» – в жизни я такого не слышал.



А. Кузнецов, А. Царёв и В. Карпенко

В будни нередко бывало так, что за весь день все вместе мы сходились только за обеденным столом. Точнее, мама нас всех сводила. Отца ей приходилось настойчиво и не всегда терпеливо звать. Он оставлял рукопись, но весь еще оставался там, в романе. Не успев усесться на табуретку и взять вилку или ложку, начинал увлеченно рассказывать сцену, которую пришлось оборвать на полуслове. Если там, на недописанном листе, происходило что-то забавное, веселое – сам первый смеялся заразительно, стряхивая слезы с ресниц и рискуя подавиться. Мама не раз колотила кулаком по его крепкой спине... И по моей худосочной спине – тоже. Хохотали, в общем, от души все трое, все вместе.

Эти переполненные весельем и счастьем семейные обеды порой были самым замечательным событием в течение дня. И остались у меня одним из самых прекрасных воспоминаний.

Кстати, когда я вспоминаю об этом, мне порой приходит в голову совершенно абсурдная мысль: а может, именно та жизнь, что тихо, подобно Салу, текла или конницей неслась в его рукописи, и была для него подлинной жизнью, а не та, что вокруг...

* * *

В первые же после нашего приезда дни мама повела меня в детскую больницу, поставить на учет.

Врач-педиатр долго изучала мою историю болезни, сильно распухшую за последние годы, читала выписки, едва приметно качала головой. Долго и внимательно слушала мое сердце, считала пульс. Сделала все необходимые, уже хорошо знакомые мне, назначения. Направила к невропатологу. И тут же выписала справку в школу о полном освобождении меня от уроков физкультуры.

На следующем, плановом, осмотре она порадовалась за нас, когда мама сообщила, что мы наконец-то из гостиницы переехали в квартиру, где есть все условия для соблюдения необходимого мне режима: «сонной терапии» днем и прочего. И тут мама добавила: квартира – на четвертом этаже. Врач ужаснулась: «Да вы что! Как же ваш мальчик сможет подниматься на четвертый этаж?! Немедленно меняйтесь на первый!».

Дома, спокойно выслушав маму, разволновавшуюся и запереживавшую, отец пытливо взглянул мне в лицо: «Ну что, Сережка?.. Как ты, сможешь подниматься на четвертый?». «Да как на Советской поднимался, так и здесь буду», – я пренебрежительно пожал узкими плечами. Отец кивнул и усмешливо закрыл тему: «А ты вот что... Будешь когда подыматься – этажи не считай».

* * *

По случаю новоселья мне сделали подарок – фотоаппарат «Смена-6». Купил его отец в магазине «Мелодия», что работал в том месте, где сходятся улицы Гончарова и Минаева.

В Астрахани мы, вместе или порознь, то в фото-

ателье ходили фотографироваться, то фотографии в детских яслях и саду снимали нас, то друзья родителей «щелкали», одаривая потом фотографиями разного размера и разной яркости. Свой фотоаппарат в нашей семье появился впервые.

К нему тут же нашлась и «фотолаборатория». В дальней комнате, которую отец облюбовал под кабинет, планировкой была предусмотрена темная кладовая. Ее левую часть мама оборудовала полками. Кстати, все, для чего требовались гвозди и молоток, мама во всех наших комнатах и квартирах делала сама: отец не мог одной рукой с этим справиться. А вот в правой части, вплотную к стенам, уместился старый однотумбовый письменный стол, за которым я в Астрахани делал уроки. На этот стол тут же встал высокий фотоувеличитель, рядом разложились все прочие принадлежности.

Я просто «заболел» фотографированием. «Искать натуру» и «щелкать» оказалось страшно увлекательным занятием. Куда тяжелее давалось мне проявлять и фиксировать пленку, печатать и глянецовать фотографии. Глянецовать хорошо я так и не научился.

Вместо прилежного выполнения домашних заданий в своей комнате я теперь безвылазно «сидел в чулане», точно сурово наказанный за какой-то страшный проступок. Мама, по своему обыкновению, заперевивала на мой счет: мол, не повредит ли мое новое увлечение учебе. Но отец ее успокоил: «Ну если ему так нравится – ничего страшного, нехай себе...». И оказался прав. Моя возня в закрытом чулане у него за спиной «писанине» его не мешала. А когда я молча входил в кабинет и «щелкал» его за работой – он меня будто не замечал.

Года через два мое увлечение выдохлось: времени и терпения на серьезную работу с фотопленкой и фотобумагой оставалось все меньше. Но благодаря той простенькой «Смене-6», облаченной в резко пахнущий футляр искусственной кожи, «фотолетопись» именно ульяновской жизни нашей семьи – наиболее полная. Хотя порой и на резкость плохо наведено, и экспозиция неправильно выбрана. Жаль...

Когда мы смотрим в объектив фотоаппарата – мы смотрим в глаза неведомому будущему. Это будущее когда-нибудь посмотрит в наши глаза. Что оно прочтет в них?

Меня окружают лучшие, любимые астраханские и ульяновские фотографии родителей – вместе и порознь, без меня и со мной. Они смотрят на меня в упор, как смотрели когда-то в объектив. Отец – пристально, с едва приметной усмешкой. Мама – когда серьезно, когда с улыбкой, но всегда очень внимательно. Как же порой трудно бывает выдержать их взгляды...

* * *

Насчет того что отец гостей не любил и никто к нам не приходил – тут я краски сгущаю.

Один гость все же заглядывал. Правда, не то что бы в гости – не поболтать по-дружески и не выпить-закусить, – а хоккей посмотреть по телевизору.

Это был артист Ульяновского драматического театра Иван Карпец. Так мне запомнилось: артист.

На самом деле он заведовал в театре музыкальной частью. А иногда выходил на сцену. Мама стремилась сходить на все спектакли, посмотреть все премьеры и

настойчиво тянула нас с отцом. Так что в театр ходили часто – чаще мы с мамой, чем втроем... И однажды я видел его в каком-то спектакле: он вышел в небольшой группе певцов, играя на баяне, все они остались стоять у левой кулисы – постояли, попели недолго и ушли обратно за кулису.

В Астрахани, пока мы там жили, Первую программу еще не показывали, и многие передачи Центрального телевидения мы впервые увидели в Ульяновске. В том числе и матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Увидели – и тотчас дружно «заболели».

А тут подоспел февраль 68-го – зимние Олимпийские игры в Гренобле. Турнир по хоккею там стал одновременно и чемпионатом мира.

Карпец жил где-то рядом и приходил к нам соседски смотреть матчи сборной СССР. Кажется, тогда у него просто не было телевизора дома.

Приходил он заранее. Мы всегда были ему рады. Отец к нему обращался, как старший приятель к младшему, – «Ваня». Встречал шутками в своем духе: «А ты, Вань, че... опять с репетиции убеж?.. Иль со спектакля?». Потому-то, видно, я и запомнил его как артиста.

Мама пыталась угостить его чем-то, накормить, однако он отказывался даже от чая – мягко, вежливо, но стойко. Видимо, считал, что угощение – это уже слишком. Держался очень скромно, говорил негромко. Улыбался обаятельно. Неторопливо рассказывал какие-то театральные истории. С ним было интересно и весело.

В один из своих приходов Карпец поучаствовал с нами в опробовании автоспуска «Смены-6».

Сборной Чехословакии наша команда проиграла. Решающей, за золото, стала встреча со сборной Канады. Сложилась она очень упорной, жесткой. Карпец переживал страшно: сидел в кресле то окаменев, то раскачиваясь взад-вперед, то сжимал руки в кулак и подпирал им подбородок, то потирал их нервно. Когда в канадские ворота влетала очередная шайба – выпрыгивал из кресла и быстро прохаживался по комнате туда-сюда, взмахивая руками. Будто стряхивал с себя напряжение.

Когда наши разгромили канадцев 5:0, стали чемпионами мира и Олимпийских игр – он был счастливее нас троих вместе взятых...

* * *

Шло не ранее уже утро буднего августовского дня 1968 года.

Мы все были дома, когда раздался звонок в дверь. Я, оставив альбом с марками, быстро выглянул в прихожую из своей комнаты. Мама вышла из кухни, вытирая руки вафельным полотенцем. Последним из своего кабинета подошел отец. Английский замок отперла мама.

Порог переступил Царев. Его лицо, бледное, без тени загара, исказила взволнованность и даже, кажется, растерянность. Обычная его широкая улыбка стерлась начисто. Сухие руки мяли поля «хрущевской» шляпы. Он не произнес – выдохнул: «Наши войска вошли в Чехословакию».

«Ну что ж...» – глухо проговорил отец после паузы. Его обесцвеченные губы сомкнулись плотно.

Очень многозначительным он получился – этот немой обмен взглядами между тремя взрослыми в присутствии несведущего подростка.

Какие до того дня разговоры о «чехословацких событиях» велись между ними – сейчас можно только догадки строить. Отец в силу своего положения имел возможность – даже обязан был – знакомиться в обкоме с информационными изданиями ЦК КПСС «для служебного пользования», которые особой фельдъгерской службой развозились по обкомам, горкомам и райкомам. И потому знал о Пражской весне, о растущей враждебности чехов и словаков к Советскому Союзу и об остроте тогдашней международной обстановки куда больше, чем читатели «Правды» и «Известий». Что-то из того, что прочитывал, он, конечно, пересказывал и маме, и самым доверенным своим «соратникам по литературному цеху».

Возможно, одному Цареву. А возможно, и еще кому-то.

Какие мысли метались, сталкиваясь и путаясь, в их головах, когда они, переглядываясь молча, стояли в нашей прихожей?

Вряд ли о судьбе чехословацкого «социализма с человеческим лицом» и об угрозе, которую несли Пражской весне наши десантники и танкисты. Наверняка – об угрозе их собственной стране, их дому, их родным и близким. О том, что вступление наших войск в Чехословакию может уже в ближайшие дни вызвать войну между странами Варшавского договора и НАТО.

А это – Третья мировая! И будет она куда более страшной, чем две предыдущие: ведь появилось атомное оружие, ракеты с ядерными боеголовками.

Все трое – мои родители и Царев – были людьми с немалым жизненным опытом, подчас трагическим. Отец – фронтовик, инвалид. Мама – дочь погибшего фронтовика. Цареву не довелось повоевать, но он хорошо знал, что такое полугодная жизнь в тылу, полная лишений, и тяжелейший, сверх человеческих возможностей, труд под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

Хорошо знали они и другое: при всяком возникновении угрозы войны советское руководство сразу начинало «закручивать гайки» в стране. В том числе – загонять под ногу творческую интеллигенцию, особенно журналистов и писателей.

* * *

Где-то с год прошел после нашего приезда, и Ульяновская писательская организация пополнилась двумя новыми членами Союза писателей: из Душанбе переехали супруги Дмитрий Дудкин и Анастасия Чеховская. Оба драматурги, они, как рассказал отец, не только пьесы для театра писали, но и в кино работали.

Называл он их обобщенно: «Дудкины». Слыша дома от случая к случаю эту семейную фамилию, я не сразу, но все же почувствовал какую-то озабоченность в отцовском голосе.

Прошло еще время, совсем немного. В разном настроении возвращался отец домой, а в тот памятный день оно было необыкновенно приподнятым, Еще

разуваясь, он торопился рассказать маме: «Ну что, побывал я в том доме...» ...И там «хороший разговор состоялся...» Мама слушала его напряженно. А отец продолжал уже чуть ли не восторженно: «...Он сразу мне сказал: “Владимир Васильевич, не думайте о нас плохо. Это раньше мы были на человека – теперь мы за человека”...». «На» и «за» отец, вторя кому-то, сильно выделил возбужденным голосом.

Мама вздохнула облегченно: «Ну, слава богу...»

Они быстро договорили в отцовском кабинете, и мама позвала нас к столу...

Мы уже в Москве жили, я учился в Историко-архивном институте. Дома зашла речь о высылке Александра Солженицына. И тут отец заговорил о Дудкине. Я впервые услышал, что, оказывается, Дудкин еще до переезда в Ульяновск переписывался с Солженицыным. Отца по этому поводу пригласили в Управление КГБ по Ульяновской области. На встрече «с начальством» они «нашли общий язык»: Дудкина «тревожить» не станут, а отец сам с ним «побеседует» и убедит переписку прекратить. Отец поговорил с Дудкиным в писательской организации – тот отца «услышал» и пообещал прекратить. Как пообещал – так и сделал.

Вот именно такими словами, очень-очень скупой отец поведал

мне эту историю пятилетней давности.

Теперь-то я хорошо понимаю причину его тогдашнего приподнятого настроения.

В те годы еще не ослабла цепь, на которую Хрущев посадил Комитет госбезопасности. Получив «ориентировку» с Лубянки, ульяновские чекисты взяли за дело аккуратно, деликатно: писатель Дудкин – не «законченный враг», а просто «оступился человек». В подобных случаях обычно обращались к начальнику «оступившегося» – партийному, если тот был членом партии, или по работе. А начальником беспартийного Дудкина являлся ответственный секретарь областной писательской организации Карпенко. О нем чекисты знали все, что им требовалось. В том числе и о том, что при приеме на работу в Астраханский обком КПСС, как и при увольнении оттуда, он подписал обязательную в таких случаях бумагу: «...Настоящим обязуюсь хранить в строжайшем секрете государственные тайны, известные мне в силу служебного положения, а также все сведения и данные о работе, ни под каким видом их не разглашать и ни с кем не делиться ими». Все это давало основание, конечно, не для откровенного, но для вполне «товарищеского» разговора.

Принял отца, не сомневаюсь, лично начальник Управления КГБ по Ульяновской области, генерал. Ведь они были – как ни странно прозвучит это сопоставление – ровней друг другу, «руководителями областного масштаба». Да и такое свободословие – «Раньше мы были НА человека...» – никто, кроме начальника, в здании Управления позволить себе не



Андрей Иванович Царев (1914 – 1989)

смог бы. По всему, он был очень опытен в своем деле и разговор с писателем, «инженером человеческих душ», построил грамотно. В духе «посоветоваться надо, как помочь оступившемуся товарищу». Свидетелями разговора, несомненно, были и стаканы с чаем, и сушки, и конфеты. Свидетелями того, как генерал сначала успокоил отца, а потом просто очаровал своим добродушием, человеколюбием, интеллигентностью. Наверняка, и литературу затронули...

Отец, возможно, сам, по душевному порыву, вызвался переговорить с Дудкиным, попытаться убедить его «исправить ошибку». Но, скорее, генерал умело подвел отца к такому предложению, а потом же сам и одобрил его, предложение это. Получилось – доверил отцу провести «профилактическую» беседу с Дудкиным. А по сути – поставил задачу.

Собираясь на ежевечернюю прогулку, отец обычно произносил одну из любимых своих фраз: «Схожу на волю, подышу...». А вернувшись через полчаса – другую любимую: «Надышался властью».

Спустившись по лестнице из генеральского кабинета, выйдя из здания Управления КГБ на уже хорошо знакомую улицу Льва Толстого, отец, вероятно, как никогда прежде ощутил, что он «вышел на волю». В этот миг он испытал огромное облегчение и действительно «дышал властью». Переполнившие его до краев радость и воодушевление он донес до дверей дома.

Как уж отец провел ее, эту беседу с Дудкиным, – не знаю. Он умел не только пошучивать и отшучиваться, но и вести трудные, доверительные разговоры на самые сложные и опасные темы. А вот это я знаю хорошо, причем именно по себе.

Конечно, теми двумя разговорами – сначала в Управлении КГБ, а потом, по соседству, в писательской организации – дело не кончилось. Ульяновские чекисты продолжили «присматривать» за Дудкиным: все дела, хоть как-то связанные с Солженицыным, «стояли на контроле» Москвы, ибо и Кремль, и Лубянка начали воспринимать его как серьезного врага.

Годы спустя я и другое понял: почему мама так сильно переживала, услышав однажды от мужа, что его «приглашают» в КГБ. Ее отец был арестован в 37-м. Его не расстреляли, не сослали в лагерь – освободили через год. Он одержал очень-очень редкую по тем временам победу над сталинскими органами госбезопасности; об этой истории рассказано в очерке «Дело Якова Лиманского»...

После той беседы отца с Дудкиным в писательской организации минуло еще какое-то время, и Дудкин с Чеховской пригласили нас к себе. Это – единственный за всю нашу ульяновскую жизнь случай, когда мы всей семьей побывали у кого-то в гостях.

Где они жили тогда – не запомнил. Они встрети-

ли нас на каком-то перекрестке, на полпути к их дому. Уже густели ранние сумерки холодного времени года. Дудкин, высокий и худощавый, сразу понравился мне. Получилось, мы шли по узкому тротуару вдвоем, впереди остальных. Я стал что-то спрашивать его, «киношника», о «Фантомасе», и на мои дурацкие мальчишеские вопросы он отвечал с ясностью и четкостью опытного учителя. Мне он запомнился человеком скромного достоинства, с тихой и малословной речью. Еще – с глубокой и какой-то печальной задумчивостью.

Угощали они нас тушеной уткой, необыкновенно вкусной.

Застольный разговор между взрослыми шел то о том, то о сем. Родители с интересом расспрашивали о Таджикистане. Но все-таки это не был разговор добрых друзей: все держались как-то сдержанно, даже чуть скованно.

Но вот в чем не было у них не малейшей сдержанности, у Дмитрия Дудкина и Анастасии Чеховской, так это в ласковой и

чуткой заботе о своей дочери, больной с рождения. Необыкновенно трогательной она была, эта родительская забота.

* * *

Железный почтовый ящик с белым номером 54 – на лестничной площадке между первым и вторым этажами, – возможно, еще помнит левую руку отца, отпирающую его маленьким ключиком и извлекающую газеты с письмами.

Открывал его отец с большими надеждами или мрачными предчувствиями. Каждый день ульяновской нашей жизни он ждал писем из издательств и редакций, из Москвы и Саратова. Пересылаемых оттуда писем читателей становилось больше, а вот писем редакторов – меньше: их все чаще заменяли телефонные звонки и разговоры.

Иногда после таких писем или звонков отец уезжал, как он выражался, «на пару-тройку деньков» в Москву или Саратов. Из Ульяновска отец ездил в Москву гораздо чаще, чем из Астрахани. Не только для работы в архиве и встреч с военными историками и юристами, уже ставшими ему друзьями, но и по делам писательской организации.

Ездил он поездом, на вокзал ходил пешком, и мы с мамой часто провожали его. Я страшно ему завидовал: очень уж нравились мне окна, полки, столики, зеркала – вся отделка и обстановка купейных вагонов.

Обычно поездки в Москву отец планировал заранее. И билеты покупались в кассе вокзала до того, как их успевали распродать.

А то срывался совершенно неожиданно. Причиной становился очередной звонок из издательства «Советский писатель», которому он предложил для издания полный вариант романа «Тучи идут на ветер». Предложил с надеждой там же, в «Совписе», как назы-



*Пешком на железнодорожный вокзал.
Лето 1969-го года.*

вали его в просторечье, напечатать потом и второй роман дилогии.

Те звонки из «Совписа» были крайне тревожными и страшно его расстраивали: дескать, получено еще одно заключение Института марксизма-ленинизма или Института военной истории – не то чтобы отрицательное, но замечаний много, надо посоветоваться, вместе прикинуть, как их «снимать», как перерабатывать рукопись. Или сообщалась новость, как говаривал отец, «еще хлеще»: из ЦК «спущено» очередное письмо Буденного или буденновцев с осуждением реабилитации Думенко и протестами против «восхвалений» того в печати – надо что-то ответить, кого-то успокоить, в чем-то заверить. А иначе выход романа, уже поставленного в издательский план, окажется под вопросом...

Он хватался за документы – паспорт, «инвалидское» удостоверение и членский билет Союза писателей всегда лежали стопочкой в углу верхнего ящика письменного стола – и свой легкий, небольшой, чемодан. Мама быстро укладывала в него хорошо наглаженные рубашки и прочее, необходимое на два-три дня. И пешком, широким шагом он спешил на железнодорожный вокзал. Мама едва поспевала за ним, а вот я легко обгонял своими длинными ногами. Однажды – даже со «Сменой-6» наперевес.

В Москве он теперь останавливался то у друзей-писателей, то в какой-нибудь гостинице попроще и подальше от центра. Как Нина Иосифовна в такой спешке умядрялась оформить ему командировку и выплатить командировочные – уж и не знаю. Это осталось их тайной.

Как-то ему пришлось бежать на вокзал меньше чем за час до отправления московского поезда. Естественно, никакого билета у него не было и в помине. А время стояло летнее, отпускное.

Вернувшись из Москвы – поездка, судя по его хорошему настроению, прошла удачно, то есть надежда на издание романа не умерла, – он рассказывал нам с мамой, как достал билет. Рассказывал, захлебываясь от доброго смеха. Да так художественно, что я и сейчас вижу эту сцену, будто присутствовал при ней.

Пока он торопливо шагал, почти бежал, от дома к вокзалу, в голове «написал» речь. Для вокзального

начальства или для проводниц. Очень проникновенную речь: дескать, он – писатель, ему страшно важно именно сегодня, вот именно сейчас уехать в Москву, его срочно вызвали в издательство, где готовится к выходу в свет его новый роман, роман о героях революции, очень важный для идеологического воспитания народа, особенно во время празднования 100-летия Ленина...

Билетов на московский поезд, чего он и опасался, в кассе уже не было. Расспросил подвернувшуюся уборщицу, где кабинет начальника вокзала, нашел нужную дверь, постучал, распахнул и, не разглядев толком человека в железнодорожной форме, сидящего за столом, начал сокрушенно, даже с трагической ноткой: «Здравствуйте. Вы

знаете, я – писатель...». Другие заготовленные слова не понадобились. Начальник вокзала живо поднялся на ноги, гостеприимно распахнул руки и воскликнул: «Куда вам ехать, товарищ писатель?».

Через 15 минут отец уже сидел в купе, на нижнем месте из «брони» начальника вокзала. Кажется, потом он подарил ему волгоградское переиздание «Отавы».

Запомнилась мне и другая «билетная» история.

В любимом нашем «Рассвете» показывали «Красную мантию» – датско-шведский фильм о викингах, где снялся советский актер Олег Видов. Многоцветная и многообещающая афиша предупреждала непререкаемо: «Детям до 16 лет просмотр запрещен».

Пошли вдвоем, почему-то без мамы: видно, у нее были занятия в техникуме. Ростом я сверстников

сильно опередил, отца уже перерос, и билеты на вечерний сеанс кассирша безо всяких сомнений продала мне еще днем: забежал в «Рассвет» после школы.

Но пожилая, сухопарая «билетерша», опытная и бдительная, пытливо глянув мне в лицо, сначала задержала наши два билета в своей руке, а потом протянула их обратно отцу. «Не советую вам водить вашего сына на этот фильм», – в голосе ее, впрочем, прозвучала не только внушительная строгость, но еще и какая-то теплая доверительность. «Ничего...» – так же доверительно, с ласковой усмешкой успокоил ее отец. – Он в нужных местах будет закрывать глаза.

«Билетерша» разулыбалась и с привычной сноровкой оторвала «контроль» сразу у двух билетов.



Прием делегации писателей Армянской ССР. 1970 г.



Приезд в Ульяновск группы писателей к 100-летию В.И. Ленина. 1970 г. Фотография сделана в помещении Ульяновской писательской организации

* * *

Второй роман дилогии о Думенко – «Красный генерал» – был дописан отцом где-то осенью 68-го.

Николай Шундик сразу начал его публикацию в «Волге» – в 69-м, в 1-м номере. Однако обещанного редакцией продолжения во 2-м номере не последовало: так решили идеологи Саратовского обкома КПСС. Виной тому были подписанные Буденным письма против реабилитации Думенко и издания о нем чего бы то ни было. Они продолжали поступать в ЦК одно за другим. Маршал из «высоких» кабинетов на Старой площади снова и снова разъяснялось: решение партии о реабилитации Думенко пересмотру не подлежит. А он упорно требовал напечатать очередное свое письмо в «Правде». Если бы такое произошло...

Такого не произошло.

Тем не менее издание первого романа о Думенко – «Тучи идут на ветер» – в «Советском писателе» затягивалось. Получив очередные заключения



Перед выступлением во Дворце культуры Ульяновского автозавода. 1970 г.

и рецензии из Института марксизма-ленинизма и Института военной истории, издательство требовало от автора переработать текст «с учетом замечаний», а новый, переработанный вариант опять отправляло в те же институты. Начальство этих институтов тоже перестраховывалось, и назначенные им новые рецензенты писали новые заключения и рецензии с новыми замечаниями. И все возвращалось на круги своя. А сам роман переносился из издательского плана текущего года в план следующего.

Особенно доставалось от всезнающих и бдительных рецензентов «Красному генералу», где описывались предвзятое следствие и неправый суд над Думенко, последние, самые черные дни и ночи его жизни, утро расстрела.

В общем, оба романа дилогии застряли – первый в «Советском писателе», а второй в «Волге», – как в шлюзе, у которого заклинило и верхние, и нижние ворота, наглухо закрытые.

Переработка превращалась для отца в бессрочную каторгу. Он уже перестал писать новые главы и подглавки – перерабатывал и перерабатывал написанное. Но трудился упорно, уверенный и в своем таланте, и в своей правоте. Использовал все свои возможности, помощь всех своих единомышленников, чтобы «пробить» романы. Могу только догадываться, каких душевных сил ему это стоило. А каких душевных сил стоило маме поддерживать его?

Их самих уже не спросишь.

* * *

Противники издания романов одержали, как им показалось, решительную победу в 70-м, в год столь долгожданного 100-летия со дня рождения Ленина.

Во 2-м номере журнала «Вопросы истории КПСС» за подписью Буденного было опубликовано письмо-

статья «Против искажения исторической правды». В ЦК, как рассказывали потом отцу, уже просто устали отбиваться от старого маршала, который последние свои годы одержимо и бесплодно тратил на борьбу с возрождавшейся славой своего бывшего командира. Потом уже, в середине 70-х, ходили разговоры, будто при упоминании фамилии Думенко покойный маршал испуганно хватался за именную шашку, срывал ее со стены и страшно размахивал ею, выкрикивая «Зарублю!», «Зарублю!».

Чего не знаю точно, того не знаю, но тогда, в начале 70-го, ответственные работники ЦК, похоже, решили его просто «помазать по губам»: дескать, настаиваете, многоуважаемый Семен Михайлович, на публикации вашего письма – будь по-вашему. Но переслали письмо не в «Правду», как он требовал, а в научный журнал, который в общем-то никто, кроме историков партии, и не читал.

Помимо повторения клеветы, возведенной на Думенко – той самой, что послужила основанием расстрельного приговора в 20-м, – письмо содержало обвинения против тех, кто написал о комкоре что-то «искажающее историческую правду». Начиная с историка Поликарпова и кончая писателем Карпенко.

В Ульяновском обкоме «письмо Буденного» прочли очень скоро.

Владимир Сверкалов, 3-й секретарь обкома, руководивший идеологической работой, сразу вызвал отца «на ковер». Едва отец вошел – стал резко выговаривать по поводу его журнальных публикаций о «враге народа» Думенко. В тот же вечер, за ужином, скупыми словами и уже без всякой усмешки отец изложил маме их короткий разговор. В моем присутствии. Кончился он тем, что отец заявил Сверкалову вызывающе: «Вы что, хотите поучить меня романы писать?!». И самовольно вышел из секретарского кабинета.

По всему, Сверкалов крепко пожалел о том, что три года назад дал добро на «избрание» и «утверждение» никому не ведомого астраханского писателя Карпенко ответственным секретарем областной писательской организации. А тот оказался хуже любого диссидента! И вся стряпня его – идеологическое вредительство. Диверсия чистой воды! И не где-нибудь они совершены, а на священной земле Ульяновска, где каждый камень Ленина знает. Да еще перед самым 100-летием вождя!..

Понять Сверкалова можно.

Кто виноват – секретарь обкома по идеологии знал. Что делать – тоже знал.

И в адрес Карпенко на пленуме обкома разразилась громоподобная критика. Прозвучали и «персональное дело», и «партилет положит на стол». Страшные слова по тем временам...

Что отцу нашептали сочувственно про тот пленум, он пересказал маме – кратко, сухо и опять же без всякой усмешки. А закончил «недостроенной» фразой, которую мне не раз доводилось от него слышать: «Да пошли они...».

* * *

Между тем паломничество в Ульяновск по случаю 100-летия со дня рождения Ленина приобретало эпические масштабы и торжественность. ЦК это паломничество спланировал и организовал, руководил им ежедневно и еженощно. Ульяновские партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и прочие органы, «поставленные под ружье», работали в авральном, воистину фронтовом режиме. Принимали делегации из-за рубежа, из союзных республик, из областей. Юбилейные «мероприятия» плотно и ровно следовали друг за другом, точно патроны в пулеметной ленте.

Старалась по мере своих скромных сил и Ульяновская писательская организация: прозаики и поэты встречались с трудовыми коллективами, принимались делегации писателей – советских и зарубежных, – совместно с ними ульяновские авторы выступали перед читателями во дворцах и домах культуры, в парке Свердлова. Теперь отец завтракал вместе со мной и пропадал до вечера, днем я уже не видел его сидящим за письменным столом или спящим на тахте.

Много писателей, самых разных, известных и не очень, посетило в ту весну и то лето Ульяновск. Среди прочих приплыл из Москвы и поэт-песенник Лев Ошанин, всесоюзно известный и обласканный всеми властями. Именно приплыл: на выделенном персонально ему комфортабельном речном катере. Отец его встречал на речном вокзале и «принимал» до позднего вечера: возил на обкомовской «Волге» и водил по ленинским местам, где-то они выступали, с каким-то высоким начальством сердечно встречались, торжественно обедали – не иначе с тостами за Ленина, партию, советский народ, советскую литературу.

Увы, самое интересное отец рассказал маме, когда меня уже отправили спать. Но в первых его словах я успел уловить что-то осуждающее в адрес Ошанина, а в усмешке – заметить что-то крайне недобрительное.

* * *

К 100-летию успели завершить строительство Ленинского мемориального комплекса. Строили его всей страной, весь город там работал. Даже нас, восьмиклассников, «мобилизовали» для выноса строительного мусора из Мемориального центра.

На 100-летие власти и все ульяновцы ждали приезда Брежнева...

Лично мне 70-й больше всего запомнился именно всенародным приветствием Брежнева. Точнее, приветствием и его ожиданием. А если совсем точно – одним только ожиданием, потому что приветствие, в котором участвовал я, толком так и не состоялось.



Л.И. Брежнев знакомится с Ленинским мемориалом. 16 апреля 1970. Фото из фондов УМЛ

В последние дни перед ленинским юбилеем в «Правде» и «Известиях» велеречиво живописалось о пребывании товарища Брежнева в Харькове, посещениях им Харьковского тракторного завода, его встречах с трудящимися. А Ульяновск ожидал его приезда смиренно, но с нарастающим волнением и нетерпением.

Старшеклассников средней школы №2 держали в «готовности номер один». Накануне с торжественным придыханием классные руководители разъяснили: нашей школе оказана высокая честь приветствовать товарища Брежнева, когда он будет проезжать по улицам города. Участок, отведенный школе, указали четко: перекресток улиц Карла Либкнехта и Гончарова, с полсотни шагов от магазина «Диета» до дальнего ограждения сквера, тянувшегося посреди улицы Гончарова, стоять лицом к спуску, ведущему к речному вокзалу. Заранее были где-то изготовлены, привезены в школу и разнесены по нужным классам пышные охапки красных флажков и красных же искусственных цветов.

Мы-то надеялись, что нас снимут с уроков. Но день перевалил за середину, уроки уже закончились, а команды «встать на



Л.И. Брежнев в Ленинском Мемориале делает запись в Книге почетных посетителей музея. 16 апреля 1970 года. Фото из фондов УМЛ

место и приветствовать» все не было. Классная руководительница заявила нам, 8-му А, что домой никто не уходит: мол, сидим и ждем, ведем себя тихо, как на уроке, а чтобы не тратить зря время и не бездельничать – можно приступить к выполнению домашних заданий на завтра, а дверь входная, чтоб мы знали, уже закрыта и возле нее дежурит завуч... Именно тот

дежурил, кого мы все страшно боялись. А директор, которого мы совсем не боялись, как мы поняли, ждет звонка в своем кабинете. По этому звонку нам и следовало разобрать флажки с цветами и идти на наше место приветствовать проезжающего Брежнева.

Уже и пообедать сильно хотелось. Буфет на первом этаже работал, но давки, как на большой перемене, там не наблюдалось: родители «серебро» и «медяки» на пару пирожков и стакан компота или киселя отсчитывали аккуратно, и почти все мы уже потратили их. А были среди нас ребята, чьи родители вообще не могли позволить себе дать ребенку хоть какую-то мелочь на школьный буфет.

Мы сидели в нашем классе на третьем этаже, с юношеской мятежной тоской глядя сквозь чисто вымытые стекла: за окнами ярко зеленели распустившиеся почки и зазывно распевали птицы. Переговаривались и перешучивались все громче, домашнее задание в голову не лезло. А с первого этажа поступали новости, которые нас пока еще веселили. Гам и взволнованность нарастали. Лица учителей обрели вид напряженный и озабоченный, голоса их постrojали.

Очередная новость снизу была уже невеселой: первый этаж перекрыли, буфет больше не работает. И это породило в нас беспокойство: уж вечер близится, а Брежнева все нет.

Встревоженные родители начали подходить к школе, стучали в запертые двери – им что-то объясняли через распахнутые форточки. Поток родителей густел. Судя по всему, им не оказали высокой чести приветствовать Брежнева.

Мы с моим другом Володькой Радиохиным, обменявшись понимающими взглядами, вышли из класса и отошли в пустой угол просторного холла. Ясно стало, что пора как-то уходить домой. На живого Брежнева посмотреть, конечно, хотелось очень, но хотелось, чтобы и мамы наши поскорее на нас посмотрели. Обе они были преподавательницами, порядки школьные знали, и, когда в этот день уроки заканчивались – тоже знали. И уж вот чего нам совсем не хотелось – чтобы они стучались в запертую дверь школы, словно в ворота осажденного замка. Не то чтобы мы с Володькой были маменькиными сынками – просто мам наших мы любили и старались лишний раз не волновать. Тем более что поводов для волнения и без Брежнева становилось все больше...

Да к тому же унижительная нелепость всего происходящего уже смутно начала ощущаться двумя очень сознательными комсомольскими активистами и отличниками.

План у нас выходил не больно-то мудреный: спуститься с портфелями на второй этаж, якобы в кабинет английского языка, побродить неспешно по холлам, будто устали сидеть, найти не слишком крепко запертое или даже приоткрытое окно, выходящее на школьный двор, примериться глазомером, далеко ли до земли...

Да куда бы мы с Володькой, конечно, не сбежали. Захотелось просто помечтать шутливо, душу отвести, настроение себе поднять. Ну помечтали, отвели, подняли... А тут снизу пришла еще новость: парень не то из 9-го, не то из 10-го класса выпрыгнул из окна второго этажа, сломал ногу, и уже примчалась «скорая». Видать, дежурила неподалеку...

Почти стемнело, когда нас отпустили по домам. Как я догадываюсь, из обкома с ту ночь не отпустили никого. Да и не только из обкома.

На следующий день, 16 апреля, все с утра пошло, как в предыдущий: уроки начались, нас с уроков не сняли, и они закончились по расписанию, но уходить домой учителя нам не разрешили, велели сидеть и ждать. Тон, которым велели, и взгляды их были уже суровыми. Кто-то из них постоянно маячил в холлах, бдительно присматривая за окнами. Родители осознали политическую важность возложенного на нас ответственного поручения и кому-то предусмотрительно дали побольше мелочи на буфет, а кому-то и бутерброды.

Наконец, ближе к вечеру, долгожданный телефонный звонок в кабинете директора зазвенел, и тут же нервно зазвучали разноголосые команды учителей. Вероятно, кем-то предполагалось привести старшеклассников на место приветствия стройными рядами. Но мы, похватав флажки с цветами, помчались туда крикливым стадом. Нас всех просто несли крылья радостного возбуждения. Не только по случаю предстоящего лицезрения живого Брежнева, а еще и потому, что нас наконец-то выпустили из заточения.

Отведенное нашей школе место на хорошо знакомом перекрестке мы заняли правильно, передвигаться и кого-то теснить не пришлось. Народу на тротуарах и на обоих концах сквера топталось много, дороги были непривычно пусты. Не успели мы отдышаться и оглядеться, как раздалась приветственные выкрики, над головами вознеслись и стали сильно, дергано раскачиваться одинаковые флажки и цветы. Сверху, со стороны обкома партии и Мемориального центра, по круто спускающейся изломанной улице к перекрестку вылетели вереницей машины. Шурша с каким-то хрустом шинами по сухому асфальту, они пронеслись мимо нас, чуть снижая скорость и сворачивая налево, умчались одна за другой вниз, еще раз мелькнули при повороте направо, на улицу Минаева и исчезли с глаз.

Машины были какие-то длинные и угловатые, их черно-серебристые кузова блестели ослепительно – таких мы прежде не видели. И разглядеть как следует не успели.

Мы стояли, вертя в руках флажки и цветы, никому теперь не нужные, и на нас нахлынули растерянность и разочарование. И ради этих нескольких секунд нас два дня томили взаперти в школе? А Брежнева успел хоть кто увидеть?..

Вообще-то мы ждали совсем иного. Не раз нам показывали в кинохронике перед фильмом и по телевизору, как в Москве по Ленинскому проспекту торжественно проезжают – именно проезжают, а не проносятся – машины с космонавтами или главами иностранных, особо дружественных нам государств. Те машины были открытыми, и ехавшие в них стояли в полный рост и приветственно помахивали людям, собравшимся на тротуарах проспекта.

Эти же машины, что за несколько секунд пронеслись мимо нас, были закрытыми, а их окна – наглухо зашторенными. Впрочем, как показалось мне и еще некоторым, одна занавеска была чуть отдернута, и за стеклом мелькнула чья-то ладонь. Может, и самого Брежнева.

И пронеслись они так, будто хотели от кого-то

умчаться прочь, будто гнался за ними кто-то. Будто гнался за ними призрак самого Ленина.

Скоро по городу поползли осуждающие разговоры вполголоса: дескать, Брежнев проявил к Ульяновску и его жителям неуважение, хуже того – пренебрежение. А значит – и к самому Ленину. А как иначе это назвать? Ведь он прилетел в Ульяновск всего-то на несколько часов! Посидел в президиуме на торжественном заседании в Мемориальном центре, выступил кратко и тут же улетел, даже на банкет не остался. А вот в Харькове целых два, а то и три дня провел в теплой компании своих старых соратников по работе на Украине.

Отец принес домой коридорные обкомовские перешептывания по поводу причин такого пренебрежения: будто бы так и не простил Брежнев первому секретарю Ульяновского обкома Анатолию Скочилову выступления на XXIII съезде партии. Будто бы ровно четыре года назад, с трибуны съезда, Скочилов смело упрекнул высшее руководство: дескать, все прогрессивное человечество готовится отпраздновать грядущее 100-летие со дня рождения великого Ленина, а Ульяновск – его родной город – как был одноэтажным и деревянным при жизни Ленина, таким до сих пор и остается... А ведь это был первый съезд партии, который Брежнев проводил после смещения Хрущева, он добился восстановления для себя поста Генерального секретаря ЦК КПСС. А тут какой-то первый секретарь какого-то провинциального обкома взял, понимаешь, и так выступил...

Так или как-то иначе произошло это на съезде партии, но после него в Ульяновск хлынули немалые средства из бюджета, строительная техника, стройматериалы, квалифицированные строители. Когда мы приехали, город местами напоминал огромную стройплощадку. Немало современных, красивых зданий и жилых домов уже возвели – еще больше заложили и начали строить.

* * *

Завершился трудный 70-й замечательным событием.

Надвигался Новый год. По обыкновению мы собирались встретить его дома, по-семейному. Как говаривал отец, «пригубить шампанского». Кстати, он почти не пил спиртного. Ну и, конечно, посмотреть новогодний «Огонек».

Как вдруг дня за два – кажется, после того как мы встали из-за обеденного стола – мама предложила нам с отцом: «А чего мы дома будем сидеть тридцать первого? Давайте сходим куда-нибудь. Хотя бы в «Рассвет»...». Сразу у нас не нашлось чем возразить: мы почти на все новые фильмы в наш любимый «Рассвет» ходили. А мама уже взяла в руки «Ульяновскую правду». Прочла вслух, какой фильм идет, в какое время сеансы. Название фильма скорее озадачило, чем заинтересовало – «Белое солнце пустыни».

Ну сделали мы маме приятное – согласились.

Пошли на последний сеанс, где-то часов на 9 вечера. Погода на Новый год выдалась не морозная. Перед кассовыми окошечками было безлюдно. Зрителей набралось совсем немного – десятка три-четыре, разбросанных по залу по двое и по трое. Иные озирали ряды пустых кресел с легким недоумением: дескать, ну а нас-то какая нелегкая занесла сюда за три часа

до Нового года?.. На очередного «Фантомаса» и очередную «Анжелику» народ валил густыми толпами. Оба зала – «красный» и «синий» – набивались битком, гудели в предвкушении нетерпеливо и возбужденно. А тут застыла равнодушная тишина. Медленно потух свет, закутилась «Иностранная кинохроника»...

Полтора часа спустя какая-то необыкновенно сильная, высокая волна восторга и воодушевления разносила немногих зрителей по домам, к нарядным елкам и новогодним столам. Все наперебой припоминали разные сцены, яркие фразы героев, шутили, хохотали...

Мы с мамой не без грусти повеселились по поводу того, что Верещагину «проклятая» осетровая икра без хлеба приелась до отвращения, и он физиономии от нее воротит. Уж мы-то, астраханцы, знали в этом толк и обсуждали сцену с глубоким блюдом, доверху наложенным зернистой черной икрой, во всех деталях. А отец шел молча, погрузившись в свои раздумья. Наконец, уже где-то на подходе к дому, вздохнув, проговорил мечтательно: «Эх, вот бы о Думенко такое кино снять...».

Много лет прошло, когда я где-то зацепил краем глаза: фильм «Белое солнце пустыни» вышел на советский экран весной 70-го. Значит, идеологи Ульяновского обкома его придержали, до самого декабря не давали добро на прокат в кинотеатрах области. Не иначе посчитали, что «товарищ Сухов» не соответствует по-партийному правильным образам героев революции и Гражданской войны. Как же можно такое показывать народу в год 100-летия великого Ленина?!

А тогда, тем не слишком морозным предновогодним вечером, мне даже в голову не приходило, что этот Новый год – последний наш в Ульяновске. А вот отец, возможно, уже обдумывал что-то... Но, по обыкновению, помалкивал до нужной поры. А мама? Капля цыганской крови, унаследованная от предков Лиманских, наградила ее острым предчувствием. Но тут оно ее подвело.

* * *

1 сентября 71-го началась моя учеба в 10-м, выпускном, классе.

А перед тем, на летних каникулах, произошло нечто знаменательное: врачи разрешили мне войти в воду родной Волги. К моей радости, за пять лет я не разучился плавать. На самом деле повод для радости был куда более серьезным.

Отец в первых числах сентября в очередной раз укатил в Москву.

Когда вернулся через несколько дней, своим ключом дверь отпирать не стал – позвонил. Видно, очень ему хотелось, чтобы мы с мамой оказались дома. Мы и оказались. Я оторвался от какого-то учебника, мама – от своих конспектов по политэкономии.

Закрыв локтем дверь за собой и опустив чемодан на пол, он кратко и как-то буднично объявил нам от порога: «Переезжаем в Москву». Немая сцена...

Уже потом, после переезда, из его обрывочных фраз и даже оброненных между прочим слов я составил себе некоторое представление о произошедшем в Москве.

Отец попросился на прием к Борису Викторову. Но к тому времени из кресла заместителя Главного во-

енного прокурора тот пересел в кресло заместителя министра внутренних дел Щелокова, всесильного собрата Брежнева.

Что именно рассказывал отец хозяину того «высокого» кабинета о сложившейся вокруг него в ульяновских верхах обстановке, какие «строил фразы» и с какими интонациями их произносил, какими своими характерными жестами подкреплял их – могу только догадываться. В одном не сомневаюсь: разговор был доверительным. Результатом его стали пара телефонных звонков и явление на свет бумаги, отпечатанной на бланке Секретариата Правления Союза писателей РСФСР.

Адресована она была генерал-лейтенанту Виктору, а подписана – секретарем Союза Вилем Липатовым, творцом всенародно почитаемого сельского милиционера Анискина.

Секретариат Правления просил «содействия в получении московской прописки писателю Владимиру Васильевичу Карпенко». За его «анкетными» данными и краткой «объективкой» на романы о Думенко следовало главное: «Сейчас писатель собирает материалы для романа о завершающем этапе Гражданской войны – разгроме Врангеля и панской Польши. Этот литературный труд не менее сложный и объемный. Потребуется еще годы исследовательской работы в архивах Советской армии, Октябрьской революции и Партархиве при ЦК КПСС.

В.В. Карпенко очень много времени провел в упомянутых архивах, живя как командировочный в гостиницах и общежитиях с временной пропиской. Постоянный отрыв от семьи, бесконечные разъезды значительно усложняют его и без того тяжелую работу. Создание нормальных бытовых и творческих условий крайне необходимо для писателя – инвалида войны».

Виль Липатов проникся к отцу, от души помогал с переездом...

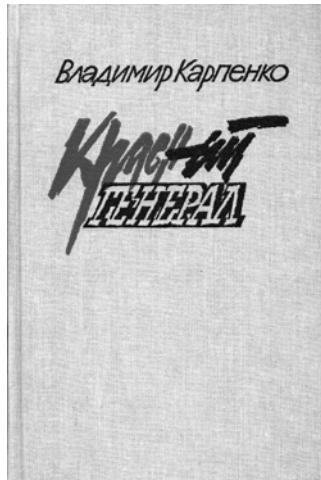
...И опять – связывание книг стопками, вынос тяжестей из квартиры, загрузка и отправка железнодорожного контейнера, утомительный сбор всякой мелочи и перетягивание веревками туго набитых картонных коробок.

Уехали мы из Ульяновска где-то сразу после ноябрьских праздников. На железнодорожном вокзале нас провожали только мои школьные друзья.

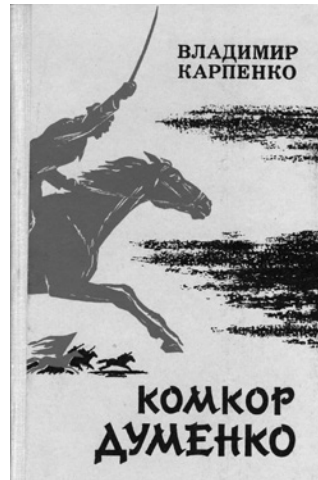
* * *

Удивительно прилипчивое это занятие – писание воспоминаний: пока писал, навспоминал еще больше, чем написал, и никак не оторваться. Самое время заставить себя поставить точку. «Силком», как говорил отец.

В 72-м роман «Тучи идут на ветер» в его полном варианте был издан в саратовском Приволжском



«Красный генерал». Москва, 1991. Обложка. Художник А. Еремин



«Комкор Думенко». Саратов, 1976. Обложка. Художник В.К. Бутенко

книжном издательстве. Издан прежде всего благодаря мужеству и настойчивости директора издательства – Виталия Васильевича Колчина. Он сумел убедить идеологов Саратовского обкома: издать исторический роман о реабилитированном комкоре Думенко и можно, и нужно. Да и сами эти идеологи оказались, видать, людьми более здравомыслящими и менее трусливыми, чем их ульяновские товарищи по «борьбе за коммунистическое воспитание трудящихся масс».

В 75-м, после перерыва почти в семь лет, Николай Шундик сумел-таки добиться разрешения продолжить и завершить публикацию сокращенного варианта «Красного генерала». И Саратовский обком, и цензура дали добро.

Год спустя Приволжское книжное издательство выпустило этот вариант под названием «Комкор Думенко». Колчин рассудил мудро: если взяться за издание полного варианта второго романа – затянуть дело на невесть сколько лет, ибо опять, с нуля, придется проходить все партийно-научные инстанции и цензуру.

Итак, «Красный генерал» был почти целиком написан в Ульяновске. Не просто написан – в Ульяновске он пережил многократное рецензирование и многотрудную переработку, ожесточенную борьбу между сторонниками и противниками его появления на свет. Отец не просто написал его – выстрадал, спас для читателей, для истории.

Не один, конечно, спас – многие ему помогли. Комкор Борис Думенко привел с собой в жизнь отца немало врагов, и врагов серьезных, но друзей и почитателей – намного больше.

* * *

Отец не имел привычки указывать ниже последней строки романа, в каком месте и в какие годы тот написан.

Я сделал это за него, когда в 91-м готовил «Красного генерала» к переизданию в «Советской России», а он уже почти десять лет как уехал из Москвы на родной Дон. С его ведома и одобрения я внес в текст некоторую правку: трем частям дал названия, удалил чисто исторические ошибки, что-то по мелочи уточнил.

И ниже последней строчки эпилога, уже без ведома отца, поставил:

Астрахань – Ульяновск – Москва
1966 – 1975

Сергей Карпенко

Воспитанник Ульяновской средней школы №2

Выпускник и преподаватель

Историко-архивного института.

Фотографии из архива Сергея Карпенко

Владимир КАРПЕНКО родился в 1926 году в Ростовской области.

Участвовал в Великой Отечественной войне; в 1943–1944 годах служил в зенитной артиллерии, получил ранение, остался инвалидом.

В 1953 году окончил Ростовское художественное училище. Затем жил в Астрахани, где работал преподавателем рисования и черчения, инструктором обкома КПСС, редактором Нижне-Волжского издательства.

В 1960 году заочно окончил Литературный институт. В 1963 году после первой публикации романа «Отава» был принят в Союз писателей СССР.

В 1967 году переехал с семьей в Ульяновск, где возглавлял областную писательскую организацию. В Астрахани и Ульяновске написал историческую дилогию «Комкор Думенко» – романы «Тучи идут на ветер» и «Красный генерал».

В 1971 году переехал с семьей в Москву. Работал редактором издательства «Современник». Написал историческую повесть «Щорс» для серии ЖЗЛ, затем в соавторстве с сыном, историком Сергеем Карпенко, – романы «Исход» и «Крым» (издан под названием «Врангель в Крыму»).

В 1982 году вернулся на Дон, жил в Волгодонске и Большой Мартыновке. Умер в 2005 году.

«А ТЫ ГДЕ БЫЛ, КОГДА ЗЕМЛЯ ГОРЕЛА?!»

страницы из рукописи автобиографической прозы

Настал Великий день – Октябрьская.

Месяц ноябрь, знал из собственной школьной традиции, а праздник почему-то Октябрьский.

Бабка Палага – мать отца – говорит, это «по-старому». Отец пробовал объяснить: передвинули, мол, все дни на две недели и очутилась Октябрьская революция совсем в другом месяце, ни сном ни духом не ведавшем о перевороте. Толком не уяснил, как это можно «передвинуть» целые дни, да и уяснить некогда: праздник поглотил с головой.

С утра люд повалил на улицу, разодетый, веселый. Всем хутором, и стар и мал, собрались на пустыре, за школой. Загодя сбили из досок высокий помост – трибуну, – перила обвили красной материей; с нее говорили. Флаги красные полощутся на ветерке, духовой оркестр оглушает, когда близко подбегаешь. За крайними садами устроили скачки. Я потерялся, истоптали мои ноги, затолкали.

Зато вечером, будто чуя какую-то вину, мать за руку повела с собой в новый клуб. Покуда его делали, мы выбегали все бревна и доски. Зараз не узнать: стены из свежеструганных пластин, такие же пол и потолок. Густо пахло стружками, смолой...

Крутили картину – кино. Только слышал я, глядеть собственными глазами не доводилось. Сцена завешана большой простыней, белой, в ржавых пятнах, заметно отсюда. Позади, у входной двери, на столе – какая-то чудная машина, «аппарат», похожая на пулемет. Верчусь, как удод на плетне, у матери на коленях: и там хочется увидеть, и тут не пропустить.

Отец кивает на простынь:

– Туда гляди...

– Побегут люди?! – не верю, а пытаться времени нету.

Сверху вижу, братва наша школьная вся сбилась спереду, на полу у сцены. Дурачатся – мала-куча. Гвалт – в ушах жарко. Все мои жилки рвутся туда, но и у матери на теплых мягких коленях, с босыми мытыми

ногами тоже не худо. Соблазн осилил.

– Пусти... до Лехи...

– А пальцы?.. Дотопчут последние...

– А нехай!

Пробираюсь на карачках, под лавками, среди ног. Не успел ввязаться в малу-кучу, поглотила крошечная тьма. Над головой сверкнуло, темень прорезал сноп света, и тут же послышался треск, будто где-то на выгоне заработала косилка. Ребяшня крутнула головы туда, откуда пылал огненный круглый глаз и исходил треск. Позабыв разговор с отцом, догадался по зеленым замершим лицам переднего ряда: пялятся на сцену. Ага, простыня!

На ней уже мигают какие-то светлые пятна, крестастые полосы, пошли крупные белые буквы. Разве ж поспеешь сложить слово! О-о... люди! Бегут, бегут косо по простыне, но теперь уже не по простыне, а вроде по улице... Кругом дома, дома... Окна в два-три ряда, достают до макушек деревьев. Дух захватило... Лицо! На всю простыню! Огромные черные дыры... глаза... Пониже тоже черная дыра... шевелится, то меньше, то больше... Рот! Говорит что-то... Ну да, буквы низом – те самые слова...

Где-то в доме, богатом, цветы в кадках, шкаф посудный, диван, комод... Стульев с высокими спинками полно кругом стола... Двое теперь, видать с ногами... Тетка и дядька. Угадываю тетку: ее было лицо. Бегают, бегают, сидят по очереди на диване, машут деревянно руками – говорят. Слова все время меняются...

Оборвалось на простыне, пропали сноп света и треск. Крошечная темнота! Не понимаю, что стряслось. Поломались? Зажгли взади лампы. Голос от стола с машиной, хрипчатый, сердитый:

– Конец первой части!

Мы, детвора, одуревшие от дива, не успели расплестись из живого клубка, как сноп света опять уперся в простыню. Продолжилось то же самое... Бегают, размахивают руками те двое, тетка и дядька, меняют-

ся слова. Снова улица, много людей, тачанки крытые, кони... Тут и наши знакомые... Тетка садится в тачанку; «фаэтон», – слышу позади. Дядька остается, машет выскокой круглой шляпой...

Четыре, не то пять раз обрывалась картина; тот же голос – теперь знаю, «киношник», – объявлял о конце части. И когда зажгли лампы, мы, очумелые вконец, все еще валялись у сцены. Столько бегали, столько ездили на конях, столько махали руками, а с простыней хоть бы что! Висит себе как ни в чем не бывало.

Мать выдернула меня из скипевшейся мало-кучи и повела на волю. Едва переставлял затекшие ноги, глаза слипались, резали. Кое-кто из братвы еще остался спать...

* * *

Ночь всю провозился. Не думал, без чего уже не засыпаю, а в воспаленном мозгу металась черно-белые человечки, ноги и руки дергались как у ободранной лягушки.

Тягостное впечатление произвело на меня кино. Ничего не понял, о чем там, что происходило на простыне, вот так пересказать связно не сумею. Взяло сомнение, чего люди так рвутся в кино... На брата оно вовсе не подействовало, будто и не ходил. Мать тоже спокойна. Светился весь, как месяц, отец – начитанный, умеет «научно» объяснить многое...

– Ты-то хоть понял вчера? – спросил он меня, когда мы расселись за стол; ни к кому не обратился.

– Ну, люди там...

– А смысл-то... про что?

– Глаза вон у него красные... как у крола, – взяла меня под защиту бабка; она-то знает, как я дергался. – Не водите больш за собой. Всю ночь ворочался, вскрикивал, брыкался... Чо за моду узяли, по кинам ходить, господи. Задуряють головы дитям. Сами уж и пропадите...

– Ты, мать, не держись за темноту, – нахмурился отец, тщательно разжевывая кабачную кашу. – И ребят не сбивай. Тут дело принсипа...

Бабка, странно, промолчала; обычно последнее слово за ней. Отец не мелочится, уступает ей во всем несерьезном, но этот разговор, чувствую, важный – дело его «принсипа». Откуда у него такое слово? Из книг, наверное, а может, от клиентов; не понимаю, что означает. Все порываюсь спросить, да что-то удерживает. Подозреваю, он и сам толком не знает, и видеть его беспомощным не хочу.

– Ешьте кашу... пока горячая, – напоминает моя мать; она всегда первая улавливает возникающую неловкость за столом.

С утра заметил, мать не глядит на меня, – такое, в чем-то виновата. А в чем ее вина? В кино я навязался силой...

* * *

Вскоре мы опять всей семьей, кроме бабки, побывали в клубе. Теперь среди дня. Нет, не кино. Отец с матерью пришли без нас – мы ввалились сами по себе, всей школой, впору после уроков. Двери настежь – входи всяк желающий! Люди, разодетые по-праздничному, целыми семьями поумостились на лавках.

Слово «чистка» подхватил в отцовской сапожной. Из горячих разговоров возле верстака я понял

смысл этого колючего слова, даже представил себе такой железный скребок, каким дядька Юзик охаживает по утрам у коновязи рабочих лошадей. Особенно яростно кипятился конюх дядька Иван, отец Борьки, как всегда выпивши:

– Чистить до седьмой шкуры!.. Там, там его белая кадетская душа!.. Ишь, похавались за красные книжки... А где он был... когда земля горела?!

С душевным трепетом ждал я сегодня.

Своих доглядел где-то в середине. Пробрался на наши места у сцены. Народу битком, а шуму большого не слышать; помалкивает и братва на полу, озирается с немо открытыми ртами. Понимали «ответственность момента», – так сказал учитель; он тоже пришел. От нетерпения у меня зудели ладони: знал я, будут «чистить партейцев», кто в большевиках. Был настроен, что «чистить» нужно непременно, очищать партию от «случайных элементов» и просто «перекрасившейся контры». Споров особых в сапожной не было, Борькиного отца поддерживали и другие дядьки. Отец мой старался внести «принсип» – не «огульно» подходить...

На сцене все готово для «чистки». Стол покрыт красным; вижу снизу, ножки крестом, некрашенные, как наш топчан. Графин с водой, три табуретки; сбоку, у окна, длинная лавка, такая же грубо сколоченная, некрашенная. По задней стенке сцены – распятый гвоздиками красный флаг.

Повожу отерпшей шеей; такое ощущение, будто «чистить» собираются меня. На ноги мои свалился Борька, не сдвинется, толкает, тычет взглядом на стол. Куда-то подевался его завсегдашний румянец, вроде и глаза выросли – округлились, распялись.

– Ты чо?..

– Батьку... тожить...

Не разобрал голоса – догадался по губам, выбеленным, зашерхлым. Нет, об отце его, дядьке Иване, речи еще нынче утром не было, в сапожной бы знали; называли ветеринара, кого-то из железнодорожников, из коннозаводской конторы, кузнеца...

– А кто сказал?..

– Мамка... плачет вон...

– Ну-у?..

– Жалко...

– Убьют, что ли?..

– Ага! Он сам кого хочешь... Беляков рубал, знаешь!..

Прилила кровь к Борькиным пухлым щекам, ожил; завозился он, уселся прочнее – стало ему легче. Отлегло от души и у меня. А по правде, «почистить» его батьку надо бы: бьет смертным боем их с матерью. Гляди, и водку пил бы поменьше.

Вспыхнул шумок и сразу погас; так ветер в саду – крутнет макушки яблонь и притаится. Из-за черной занавеси – там узкая дверца – вышли дядьки, заняли табуретки. Трое. Посередке какой – седоусый, с провалившимися щеками, с белым клоком на закопченном до меди морщинистом лбу, – так и не присел. Пялится яминами глаз из-под надушенных кошлатых бровей на нас, пацанву. Сердце оборвалось у меня...

– А детву эту... как не граждан ишо... на волю!

Затрепыхал я, похоже плотва в бредне, понимая свое бессилие; пожалел, не пробрался сразу к отцу с матерью. Комом, оттаптывая друг дружке пятки, вывалились прямо на улицу. За моим затылком со страш-

ным амбарным визгом закрылись обе половинки двери. И не угадаешь, куда упадешь, соломки бы подстелил – до самого доньшка проникаю в бабкину половицу. На Борьку жалко глядеть; не знаю уж, кого и жалеть – его или себя. Братва с криками кинулась к окнам; там и стать не на что, не ухватишься и рукой. Вернулся я к двери. Надавил – подалась. Дядьки, какой выгонял нас, не видать. Махнул Борьке. Тихонечко просунулись в щелку...

На сцене – многолюднее. Занята и лавка сбоку. В пустой прорехе, меж столом и лавкой с людьми – догадался, каких «чистят», – стоит дядька Степан, кузнец. Близко его мало знаю: в сапожной бывал, может, раз. Весь на свету – из бокового окна, – как на ладони, насквозь светится; никуда ему не уйти от полного зала глаз. В длиннополом парусиновом винцараде, расстегнутом, видать пиджак, тоже расстегнутый, проглядывает белая рубаша в синюю полосу. Сбитый, жиливатый, румяна хоть повырезай, на свету лоснятся тесовыми завитушками волосы на висках. Отсюда ощущаю некую прочность в кузнеце: и в том, как он стоит, расставив ноги в яловых крепких сапогах, и в опущенных сильных руках, и в поставе круглой светлой головы. Говорит негромко, без жестов, и обращает слова не к столу и сидящим сбоку, а в зал. Тянусь из-за спин, ловлю ухом...

– ...жили при бате, одной семьей, пятеро нас возле него... Ковальничали все мы...

– Скоко быков было?

Спросили из зала, из передних рядов.

– Две пары держали.

– А земли?.. – тот же голос.

– Десятин двенадцать своей. Да внаем брали... Арендували, значить.

– Скоко?

– Чо причепился до человека, Гришка?!.. Как кобель шелудивый...

Не угадал, кто крикнул позади меня.

– Три десятка... Ин раз и до сорока подымали.

– Подробнее о хозяйстве всем!

Вмешался седоусый, застучав карандашом о графин; голос не сердитый – суровый скорее. Жаль, не видать до тонкостей лица; деда такого я не встречал на улице, может, и подъехал откуда, но видать сразу, тут он заглавный.

– Да оно какое хозяйство?.. – глянув коротко на красное застолье, кузнец так и обращался ко всем людям: – Две пары быков... Пара лошадей, три коровы... Овцы, свини, как и положено... И живность всякая, птица там...

– Чужим трудом пользовались?

– А надобностей и не имелось. Наших, ребячьих, пять пар рук... Да батины. И бабьих полон двор.

– Чем засевали?

– Гарновкой больш. Чем еще на наших супесях?..

– А излишки куда девали?..

– Дак куда в ту пору?.. Парамонову, на Романовскую... Но эт батя со старшими: пацаном я в то время бегал.

– А посля революции... хозяйство оставалось в прежнем виде?

– Пошло на слом... За пару быков коня выменяли, верхового... мне, младшему. У Великокняжеской, то Пролетарке, службу конную отбывал...

Седоусый кинул взор на своих соседей, у локтей.

Кивнул дальний – темноликий, крутолобый, кудлатый, в защитной военной рубаше, а поверх в коричневом пиджаке; шлепая об стол коробком спичек, он исподлобья взглянул на кузнеца:

– У белых служили из вашей семьи кто?

Губами вроде и не пошевелил, а услышали все. Звенящая тишина – в ушах заломило.

– Служили. Другой из братьев... Афонька. Как с действительной не пришел, и германской...

– Офицер?

– При офицере. В вестовых... С царской еще.

– Где... теперь?

– На хуторе... При бате. От Новороссийску как вернулся...

Из самой гущины – истошный крик:

– И чево ты, Степка, про Афоньку да про Афоньку гундишь! Про Миколая скажи да Прокопия!..

Близкий голос. Ну да, пекарь, дядька Андрей, тетки Евсевны «чоловик». Евсевна с моей матерью – завзятые товарки; они и зараз сидят вместе. И дядька Андрей рядом с отцом моим; голова его серая, будто мукой обсыпана, торчит.

– Старший Николай да средние, Прокопий с Костеем, были у красных. Чево о них говорить?..

Над головами прошел шумок, легкий, как дым от хорошей папиросы. Трое за красным столом склонились тесно. Молчаливый, по левую руку от деда, сосем молодой в очках что-то доказывал, жестко рубил воздух над столом стиснутой ладонью, похоже как крошил капусту кроликам.

Толкнул Борьку. Сторожко начали продвигаться вдоль стенки поближе к своему законному месту. Рот раззявил! Вся братва! Как они попали? Тоже в дверь? Не заметил...

На сцене – перемещение. Вместо кузнеца – уже Борькин батя. Не признал его сразу. Борька как-то странно давнул мой локоть, потом начал гладить, как кошка лапой. Не знаю, чем и помочь ему, сам не дышу, боюсь глядеть по сторонам: не упустить бы чего.

Подменили вроде дядьку Ивана: весь нарядный, в сапогах хромовых, гармошкой у щиколоток, штанах хороших, суконных синих галифе, в рубаше сатиновой, синей, как у Борьки, с кавказским наборным пояском, внапашку шинель, серая крупейчатая кубанка в руках. Выбрит, усы торчком, и чуб темный, с синим отливом, терновой кистью свисший до ярких гнутых бровей. Вызывающе избоченился, на «троицу» ноль внимания, вполоборота; весь – в зале.

– Член партии коммунистов Цыганов, ты стоишь перед народом. Откройся ему. Будут тебе вопросы... Отвечай, не таись. Как на духу... Встарь говорили.

– А про чево вопросы?

– Ну начни... кто ты... да что?..

– А народ знает... Цыганов я, Иван... и по-батюшке Спиридонович... Да и ты, Силантий Авдеич, джеже меня знаешь, вместе летали по этим самым буграм... И коня твоего помню... Гнедой, белоногий!..

– Гнедка?.. – на какой-то миг седоусый осветлел медным, закопченным ликом; тут же насупил мохнатые брови, прокашлял в кулак: – Давай, Цыганов, по факту! С родословной самой, с третьего колена.

– А с пятого ежели?

– Крой с пятого! – почуввав неладное, седоусый грозно сдвинул бровины. – Ты, Цыганов... насмех подымаешь?!

– Силан Авдеич, ну иде я тебе и третье-то колено добуду? Дед по отцу, Егорий... с туретчины, сказывают, не вернулся, а батька Спиридон на Манжурии сгинул. Батьку-то смутно помню! На одном хуторе произростали... Чи ты забыл?..

– Ты – людям, людям!..

– Птьфу ты! Заладил... Да люди знают... как облупленного. Я вот перед ними... расхристаный. И без потаск живу! Вон, обществнный двор, конюшни! Открыты всем ветрам. Ото все мои и потайки. Кругом гляди, со всех краев!

– Иван, не придуривайся, – седоусый скривился как от кислоеого. – Стоишь ты перед народом... тебя спрашивает авторитетная партийная комиссия... А вопрос фактический! Ро-одо-осло-овна-ая.

– Ну-у, Сила-ан... тебе уж не ведать... С пупышка самого! Во моя родословная... на ладонях! – дядька Иван вытянул распяленные руки. – Все в черствых бутрах, как наши степи. Произростал без батька... С семи годов гну горб на всяких «родичов»... то тетка дальняя, то какая-нито свояченица, седьмая вода на киселе... А подрос... у калмыков скот пас на Власовке... Вон Васька-сапожник не даст сбрехать... вместе пастуховали у одного калмыка... Манжика Бадьмы. Он, вправду, поменьш был... А разогнула уж революция!

Приятно мне, что отец мой хоть в чем-то может облегчить несладкую долю дядьке Цыганову. В ответ сдавил Борьке локоть: не бойся, мол. Совсем бы и не страшно, кабы не тот кудлатый хмурый дядька в защитной рубахе под коричневым пиджаком: больно тяжко молчит. Разрываюсь глазами между Борькиным батькой, и седоусым – какой-то он не в себе, не успеваю следить за изменчивым выражением худючего лица, – и тем хмурым; притягивает он меня, скоывает.

– Ты, Иван, пьешь!

– Пью.

– Бьешь Гашку свою!

– Бью.

Какой-то въедливый из дальнего угла голос хрипчатый, прогорклый от табачищи, и глухой, как из собачьей конуры. Соколиные брови конюха взметнулись, шевельнулась терновая кисть; явно он изголяется:

– А чо ее, Гашку, не бить!.. От кулака она, стерва, токо красивше делается. Вы погляньте, люди! Каждное утро расфуфырится, расфуфырится... А куда? В столовку. Вроде ей гулянки...

– Цыганов! – седоусый стукнул кулаком об стол.

– Будет, будет. С Гашуткой мы, конечно, сами как-нибудь сладимся... А пить?.. Так че я ее, заразу, потребляю?! Ду-уша-а гори-ить! Проливал кровь!.. Рруу-баал!.. И чую, не доррубал контрру всяка-аю... А чево зараз делаю? На привязи... в стойле, навроде эскадронного коня. Дак я горы могу свернуть!..

– Как понимать, Иван?.. Ты недоволен? Чем недоволен?.. Тебе доверено дело государственной важности... Конь! Да ты смыслишь... конь для республики?!

Сердце мое квачом встало у самого горла. В зловещей предгрозовой тишине – голос:

– Вы, коммунист Цыганов, слышали про... полковника Киселева?

– Бандита... что ли? Гонялся за ним тут по балкам...

Затоптался дядька Иван, как конь перед глубокой канавой, раздувал ноздри, подергивал головой. Он там, на сцене, еще не понимал смысла вопроса, не по-

дозревал, что таят для него те вроде обычные слова. Умом не понимал и я многое из происходящего, но мое сердечко тишало при виде того крутолобого человека в не доношенной в свое время защитной рубахе. Недоброе предчувствие не обмануло.

Слова густые, мазутные, смачно прилипли к жилой тишине:

– В каком родстве вы... с полковником Киселевым?

– Хо! Ничо себе родственничок! Нехай он будет вам доводиться... хочь кумом! Какось прижали под Заветкой... Утек, собацур! Ну, у ево и ко-онь... Картинка! От пули уходил...

– Ива-ан, окстись... – просипел седоусый, как-то прилегая на стол. – Про чаво такое ты лопочешь... своей башкой круженной. Детва вон и та в ум взяла... глазенки хочь повыширюй. У тебе мать, Прасковия, из Киселевых... Вот и докажи... к тому Киселву, кату, ты никакой кровной причастности не имеешь...

– А кому такое надо?..

– Комиссии... Людям!

Встряхнув кудрявой головой, будто с перепоею, дядька Иван лупил невидяще выбеленные голубые глаза в зал...

Домой возвращались мы с отцом. Мать с Евсевой, обе в нарядных шалях, свернули за конюшни, к ларьку. Пряники и подушечки манили до головокружения, но был не в силах оторваться от палочки отца. Куда-то пропал и Леха с братвой. Заметил, Борька увязался за отцом с матерью, теткой Гашуткой. Не мог долго провозжать их взглядом, уткнулся под ноги, сбил братниным ботинком засохшие зеленые конские катушки. А еще больше угнетало меня молчание отца. О чем-то же он молчит!..

– Воронье мечется... К снегу. Ночью навалит...

Странно, не заметил. Тьма-тьмущая галок! Все небо, серое, продрогшее, в мгlistой наволочи, от нашего двора против всего выгона до панского сада, в черной метели. И орут же! Стоит великий грай. Не слышал, будто уши позакладало. Отец, наверно, тоже только обратил внимание, а сказал, лишь бы не молчать дольше. Вижу, он подавлен. Дядьку Цыганова «вычистили» из партии как «злостного укрывателя фактов из биографии».

Не понимаю одно слово. Подумывал, дознаюсь дома, но коль молчание нарушено...

– А, па?.. «Биография»... это как?

– А вся твоя жизнь... на бумаге. Где ты родился, когда?.. Кто твои родители?.. Что ты делал... Описаны все твои дела, работа.

– А кто пишет?

– Сам ты. Кто ж лучше тебя знает про твою жизнь. Сам и пишешь.

– Ну, я всяко могу написать... Такое выдумаю!

– А можно и... умолчать...

– Думаешь... дядька Иван умолчал? Скрыл нарочно?..

– Кто ж его знает...

...Отец уже вечером, когда мы лежали, поделился: ничего дядька Иван не укрывал и не замалчивал – на него «написали». Кто – неизвестно. Знает тот, крутолобий, в коричневом пиджаке, из района. Он и привез то письмо на дядьку Ивана. А «чистить» его и не думали...